

ДМИТРИЙ АРТИС

ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ

стихотворения

КП ОГТ
Одесса
2014

ББК 84(4Рос)62-53я44
А 727
УДК 821.161.1'06-14(081)

Дмитрий Артис
Детский возраст. *Стихотворения.* – Одесса,
изд-во КП ОГТ, 2014, 176 стр.

ISBN 978-617-637-074-1

© Дмитрий Артис, 2014

КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ НА КАСТИНГ

«Человек рождается поэтом, и поэт потом всю жизнь учится или пытается учиться быть человеком», – сказал Юрий Казарин горькие и точные слова о Борисе Рыжем. Речь идёт отнюдь не о человеческих качествах (доброте, нравственности) – но о мучительном внутреннем раздвоении, которое не всегда может быть вербализовано (однако пишущие этот конфликт прекрасно знают). Да и в самом деле, как сказать о конфликте между необходимостью подчиняться стандартам – в воздухе витает призыв «будь как все», всё пропитано этим умолчанием, – и отчётливым пониманием своей отдельности. Между тенденцией к уравниванию – и поэзией, сущностно противостоящей любым нормам, кроме одной нормы – одиночества. Смириться с этой отдельностью нелегко. Говорить о ней – неловко; бравировать – недопустимо. Приходится прибегать к самообману:

*Мне хорошо – я снова научился
лукавить и обманывать себя.*

Книга избранного Дмитрия Арписа, которую вы держите сейчас в руках, – трагическое и честное свидетельство об этой попытке эволюции. О шатании между «отчасти мирским» и «божественно мерзким» (здесь паронимия только подчёркивает близость оппозиций – и остроту конфликта), окружающей «правильной жизнью» – и генетически «неправильным» обликом поэта. Между истинно поэтическим стремлением смешать лицо с бетоном «в лучших традициях падающих птенцов», исполосовать это лицо, убежать от обывательщины – и желанием уют-

ного гнёздышка, безудержным стремлением прийти к этой обывательщине, верно названной Томасом Манном «тоской художника по обыденности».

По сути, этот двенадцатилетний итог – большая и затянутая эпопея, имя которой – метание между поэтом и человеком. Она же – большая антитеза самой себе (обратите внимание на количество оппозиций в этих стихах, начиная с заглавной: «там рождаются не поэтами, /а нормальными людьми»). Мотив этот у Дмитрия Артиса столь избыточен, что создаёт ощущение замкнутого круга. От «залихватчины» «Мандаринового сада», сквозной сюжет которой можно выразить блоковским афоризмом на все века – «а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций», – до попытки мудрого смирения и свободы от позёрства в «Ко всему прочему», – самой трагически выверенной книге Артиса, книги-попытки усмирить стихию, заканчивающейся, между прочим, всё тем же конфликтом:

*Я всё ещё пробую жить по-человечески:
не изменяю принципам, предаваясь мести,
даже старые пиджаки вешаю на плечики,
и каждое плечико знает своё место.*

*По утрам чищу зубы, принимаю душ и
щетину брею, точно снимаю бытия плесень.
Вы ещё можете услышать через отдушину
в ванной комнате, какие пою песни.*

*Но так иногда хочется взять и сломать её,
жизнь человеческую,
предстать на последние
деньги перед любимой женщиной голым
принцем, выругаться на всё святое хорошей
матерью, нажраться и не попустить,
в принципе.*

«Поздний» Артис, по-прежнему наделённый «вечным детством» (недаром отсылка к сказанному Ахматовой о Пастернаке встречается у него), уже не педалирует природный лирический инфантилизм. Ему, обводящему чёрный рисунок карандашом и выводящему петлю, не нужно прибегать к броским ходам и доказывать, что он поэт. Это ясно и так, стоит прочесть стихи:

*Позднее время суток.
Я до того дошёл,
что обвожу рисунок
чёрным карандашом.*

*Вроде косые ливни,
но получились для
жёлтых и синих линий
комната, ночь, петля.*

Артис неслучайно делает избыточно назойливой эту эпопею о метании между поэтом и человеком; так назойливо само позёрство, поскольку оно же – зов о помощи (слышите аллитерации, лишний раз убеждающие в переключке?). Перед нами – мучительная попытка вырваться из раздвоенности; в этом смысле автор ближе к Есенину, для которого уют был необходимостью, а любое нарушение уюта – досадным уходом от нормы, - чем, допустим, к Цветаевой, которой «стандарты» – жизни, быта – необходимы были, кажется, для разогревания лирической печи. Впрочем, если вдуматься, - тут как раз нет такого уж острого противоречия: центр притяжения стихов – всё равно так или иначе несоответствие. Да и артисовское «осу в карман себе засунь/и наслаждайся жизнью» – метафора самой поэзии: поэт, засовывая осу в карман, получает наслаждение от непридуманной боли (она же – вдохновение). Поэт вообще – странное существо: именно потому, что питается «сладкими звуками», страдает от них и паразитирует на них, и жить без них не

может. В другом стихотворении («Ещё вчера был жив комар...») опять возникает мотив этой назойливости – и «невозможности без»; да, это именно о природе вдохновения (и как тут не вспомнить «чёрного человека в костюме сером» Высоцкого и вообще характерный для него мотив двойничества). Однако именно в минуты некоторого равновесия, соотношения с «человеческим» – а точнее сказать, временной иллюзии смирения (а не хождения небудем-уточнять-каким-колесом – прочитайте сами, – и не пиитического биения себя в грудь) и получаются самые потрясающие стихи. Трагические, ибо ничего не сказано – и сказано всё; на выходе – лишь несбыточная идиллия, выраженная надрывно простыми средствами («больно – поэтому без метафор», по выражению Татьяны Бек):

*Представь себе, что папа любит маму
и мама любит папу до сих пор,
и если мама снова моет раму,
то папа чинит старенький забор.*

В других же стихах попытка «вырваться» из «обличья поэта» (со всеми составляющими этого «обличья» – и питье, и «хождение колесом») – иногда переходит на уровень физического усилия: «Сделано дело, смотрите, отважный мужчина /чинно рванул под уздцы и вперёд пошагал», – и становится больно и за автора, и вместе с автором.

На одном из литинститутских обсуждений рецензент назвала Артиса «поэт-театр» (думаю, в этом определении отразилась не только его тогдашняя должность директора Театрального особняка; недаром же он и внешне, и биографически похож на Высоцкого). В каком-то смысле «поэт-театр» – это тавтология; поэт всегда должен играть роль человека, но при этом он сам себе – и режиссёр, и костюмер, и завлит, – и не властен лишь в себе самом, то есть в моменте разделения искусства – и почвы и судьбы.

Не властен и над своим одиночеством, которое, по выражению Артиса, «находится вне времени, вне социальных групп», – и в этой «вневременной» сущности одиночества – пафос приподнятости, необходимый пафос, ибо становится двигателем стихов.

Артис, как истинный поэт, подлинно артистичен (простите за ещё одну невольную тавтологию); его рефрены, столь частые в этой поэзии, кажутся даже садистически-артистичными: читая их, ощущаешь эту последовательную попытку уравновесить разнополярные начала (в «Не убоится верности предавший...» меняется причастие, сам же рефрен, несмотря на это колебание, остаётся неизменным – и вот здесь-то физически чувствуешь момент поэтической беспомощности, – в самом хорошем и в самом трагическом смысле слова; как и в «Прости за дурную привычку тебе не звонить...», построенном на том же приёме и обрывающемся в отчаянное «позывные всё те же»). «Будто множили отражённых/в отражениях бесконечных», – сказано поэтом про эти рефрены. Здесь – на уровне версификации – важно и то, что я бы обозначил как «стилистические расхождения с собой»; рифмы в конце катрена нет там, где её ждёшь, но вместе с тем и затруднительно говорить о наличии белого стиха (рифмы неточные – «пространство/нами», «снова/большое»); возникает не бьющий в глаза эффект расплзания ткани и, опять же, какой-то особенной беспомощности, – несмотря на то, что содержание вроде бы гласит о попытке воссоединения.

*Однажды мы случайно где-нибудь
в конце вселенной встретимся и снова
соединимся в целое одно,
единое, прозрачное, большое.*

Этот издевательски-гамлетовский артистизм предполагает высшую степень самосожжения, ибо забалты-

вает-морочит себя повторами. Повторами – и в стихах, и в судьбе: от одной неудавшейся попытки стать «как все» – до следующей иллюзии удачи. За этим самозаговариванием – пустота (опять же, в лучшем смысле слова – как весомое и значимое зияние). Она же, эта пустота, порой становится высшей концентрацией поэзии, абсолютно далёкой от всякой умозрительности. Поэзии, которая может быть только такой – и никакой другой:

*И снова станет жизнь такой, какой
была до самой смерти никакой,
и снова станет смерть такой, такой,
какой была до жизни никакой,
какой была и – никакой другой.*

Борис Кутенков

МАНДАРИНОВЫЙ САД

I

Не в Рязани, не на Гатчине,
где поэтов пруд пруди,
в обветшалом балаганчике
недалёкой Залихватчины
меня, матушка, роди.

Говорят, что там рассветами
любоваться, чёрт возьми, –
самый первых грех, поэтому
там рождаются не поэтами,
а нормальными людьми.

Пусть услышит ветер утренний
глас младенца на версту.
В балаганчике прокуренном,
в нищете да бескультурии
до зальисин дорасту.

И другого мне не надобно,
мне другое ни к чему.
Обогреть полнеба радуга
после ливня была рада, но
не случилось по уму.

В недалёкой Залихватчине
встречу старость и, звеня
бубенцами, не иначе как,
буду петь, что Залихватчина –
это родина моя.

Дело к весне, похоже, и на душе покойно.
Солнце – котёнок жёлтый – трётся о подоконник.

Тихое небо в радость. Робко рассвет печалит.
Точно в такое утро как-то меня зачали.

Родственно, близко, тонко всё, что доступно взгляду.
К чёрту дурные мысли, мысли дурные к ляду.

Только не отсчитайте мне от рожденья осень.
Осенью всех поэтов, мягко сказать, заносит.

Милый такой котёнок, и не беда, что жёлтый.
Трётся, засранец, трётся о подоконник жопкой.

Дело к весне, похоже, и холодок – по коже...
Я от печали нынче радостно невозможен.

Мне от печали нынче весело и покойно.
Трётся котёнок жёлтый, трётся о подоконник.

Фиолетовый замок из нежных фиалок
для Жужу, для прелестной Жужу
на высоком холме, где безумен, где ярк
беспокойный рассвет,
я сложу.

Будет ветер ненужным, уставшим, вчерашним.
Надо мной посмеются слегка,
зацепившись за шпиль фиолетовой башни,
разодетые в пух облака.

Из окошка шершавой ладошкой помашет
мне Жужу. Дорогая Жужу,
нет прелестней тебя, нет милее и краше
в целом свете, как я погляжу.

Пусть тихонько шумят вековые дубравы
и зелёные травы. Пролью
возле замка Жужу – ах, я буду забавен –
беспокойные звуки лю-лю.

Для прелестной Жужу я из нежных фиалок
фиолетовый замок сложу
на высоком холме, где безумен, где ярк
и рассвет, и...
Влюблённый в Жужу.

* * *

Мандариновый сад откровенно оранжев,
виноградная кисть невозможно легка.
Ты целуешь меня. (Целовала и раньше,
но чуть-чуть аккуратней, чуть-чуть свысока).

Розовеет на блюде лимонная долька,
а под рюмкой текилы желтеет весна.
Ты опять влюблена, и как будто надолго,
ты как будто надолго в меня влюблена.

Оглянуться ли нам? Ты была здесь, я не был.
Оглянусь – оглянись, отвлекусь – отвлекись.
Только тянет глаза точно в тонкую небыль
виноградная грудь – невозможная кисть.

Всё банально, обычно, возвышенно просто.
У тебя, у меня так бывало не раз.
Покатилась луна, как прыщавый подросток,
с ледяного обрыва на пыльный палас.

Ты целуешь меня. (Целовала и раньше,
но чуть-чуть аккуратней, чуть-чуть невпопад).
На коленях твоих откровенно оранжев
мандариновый сад, мандариновый сад.

* * *

И я, Господь, твой плуг, и я, Господь.
Влачи меня и думай обо мне.
Покорна жизни праведной вполне
сегодня умирающая плоть.

Влачи меня по старой борозде,
по рифмам – не испорчу до креста.
Я землю перемалываю там,
как небо перемалывают здесь.

В кругу друзей, с любовью на груди,
над облаком дешёвых сигарет
о том, что я один из них – поэт –
проборозди, Господь, проборозди.

* * *

В миру пребываем посредством иллюзий
и часто грустим не о том,
что лямок не тянем, что баржи не грузим,
что песен уже не поём.

Идиллия жизни. И гнёздышко свито,
и сытый голодному – друг,
и всё, что проходит сквозь донышко сита,
мы держим на линиях рук.

Не много ли счастья отмерено? Впрочем,
когда раззудится плечо,
по Матушке-Волге, по отмели прочной
вальяжно идём бечевой.

Ей мечталось вечерами, что в ромашковой рубашке
к ней приедет милый мальчик на оранжевом барашке.
Не на конике лиловом, не на красном лясапеде –
на оранжевом барашке милый мальчик к ней приедет.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у неё такая жи...

Ей хотелось до рассвета (охуительная строчка!)
от ромашковой рубашки не оставить лепесточка.
Не от чайно дикой розы, не от дико чайной каши –
лепесточка не оставить от ромашковой рубашки.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у неё такая жи...

Но не едет милый мальчик на оранжевом барашке,
потому что милый мальчик (без ромашковой рубашки)
от заката до рассвета пишет буковки и точки –
о барашке, о рубашке охуительные строчки.

Тренькай, бренькай, не тужи –
у него такая жи...

КОКТЕБЕЛЬ

Привидится вечер, уныл и взъерошен,
на тысячу вёрст ни души,
и море – как будто
некстати Волошин
дешёвым портвейном стошнил.

Скалистый хребет перетянут закатом,
навек почивший дракон.
И мысли о жизни
и смерти захватят,
и вряд ли споёшь о другом.

Какие тропинки, сплетенья какие
невидимых глазом чудес!
Не хочешь, а выпьешь,
и враз переклинит,
да так, что поселишься здесь.

Входила в дом и выходила в сад...
А я сидел в берёзовой беседке
и наблюдал сквозь тоненькие ветки,
как совершает лёгкий променад
виновница полжизни невпопад.

Я наблюдал: вечерняя хандра
спадала потихоньку, еле-еле
струился свет на травные постели
и сыпалась июльская пора
на месяц совершенного бедра.

И наблюдал я, и душевный Бог
маячил между грядок, между нами,
а проще говоря, нас Бог динамил,
прикинувшись, что якобы неплох –
искоренит в саду чертополох.

Покойно было, мертвенно, легко.
Я верил Богу, Вам, себе нередко,
казалась жизнь берёзовой беседкой...
Но я махнул изящною рукой
на Вас, на Бога-душу и покой.

Обо мне вспоминала украдкой:
«Арлекин, Арлекин, Арлекин...»
и слезу вытирала перчаткой,
той, которая с левой руки.

Как ругала меня, как жалела,
проклинала с любовью и без.
И скрипел балаганчик замшелый
колыбелькой бездомных повес.

На тряпье полинялом лежала.
Улыбался под маской хитро,
обнажив откровенное жало,
одуревший от счастья Пьеро.

Ты ему отдавалась не глядя,
не снимая перчаток с руки.
«Будь же проклят навеки, неладен,
Арлекин, Арлекин, Арлекин».

Балаганчик скрипел по дорогам,
жизнь катилась – люби, не люби.
На тряпье полинялом до срока
опочила моя Коломби...

Напоминай мне чаще. Понесло
за три квартала славу, точно дым,
о том, как я небритое ебло
поклал на то, что дорого другим.

Напоминай, не бойся, не впервой.
Останусь в неоплаченном долгу.
Я даже в этом быть самим собой,
мой милый друг, назло тебе смогу.

Напоминай. Нет дыма без огня,
нет друга без врага, нет правды. Ведь
терпеть хулу такого же, как я,
намного проще, чем себя терпеть.

Быть первым среди прочих нелегко,
но ты, прошу, хотя бы невзначай,
напоминай мне, кто я есть такой,
напоминай, прошу, напоминай.

Убогая часовенка у Бога я,
забитая, без окон, без дверей.
Стою себе, как баба кособокая,
на паперти лоснящихся церквей.

Ни милостыни мне уже на старости,
ни голоса, ни шёпота. Вокруг
шиповника размашистые заросли,
овраги да невытоптаный луг.

«У неё на окошке герань...»

В. Высоцкий

Ещё одну затейливую грань
бессмертия
навязывает мне
бесчувственно поблекшая герань
в твоём незанавешенном окне.

Я постоянно думаю о том,
что увяданье – Бог
(от сих до сих),
и, как ни осеняй себя крестом,
не станешь воплощением святых.

Бессмертие не всякому дано.
Я не гонюсь
За белкой в колесе.
Со мною мир пребудет заодно,
и с миром я прибуду насовсем.

Позову, только ты не ответишь...
Ты пойдёшь стороной листопада
примерять тополиную ветошь
по-осеннему скучного сада.

Всё тебе – золотая обнова –
и пожухлые листья, и старость.
Мне бы неба чуть-чуть голубого,
на другое уже не позарюсь.

Мне бы солнце, его половинку
или меньше – погаснувший светоч.
Ко всему привыкаю, привыкну
и к тому, что ты мне не ответишь.

Ничего не будет, ничего.
Ни плохого, ни хорошего не будет.
Ворошу условно кочергой
угольки спланированных буден.

И глаза у прошлого черны,
и такие же у будущего – сверьте.
Даже сны, и те обречены
под один раскручиваться вертел.

О любви уже не говорю,
не пишу я, не выласкиваю дум я.
Изводить рассудок на корню –
маета отъявленного дурня.

НОЧЬ НЕЖНА

Ф.С. Фицджеральду

И только смерть способна отрезвить...
Сквозь щель в окне, ржавеющие ставни,
проглядывает солнце на грязи,
лечебной грязью потчует суставы
и голову, скрывающую воск
под черепной коробкой, и рассудок.

А над окном расширенный киоск
ликёро-вино-водочных сосудов
уже открыт... Но, кажется, нежна
не только ночь прошедшая, не только
увлекшая под лезвие ножа
неделями не застланная койка...

Сошедшая со временем с ума
жена, в которой жил, с которой даже
делил друзей, знакомая, весьма
приятная на внешность секретарша,
любовница, неначатый роман,
эпоха обличительного джаза...

Всё нежно мне, ведь я уже не пьян,
совсем не пьян, два дня не пьян ни разу.
Два дня как выбрит, вымыт паразит,
почищен фрак и выглажен до нитки.
Способна смерть любого отрезвить
безжалостно, легко, с одной попытки.

*«Душа стеклянная, кого ты ждёшь, звеня?
Смотри, расходятся любившие меня...»*

Бахыт Кенжеев

Гляди-тка, подворотней семеня,
уходят нелюбившие меня,
надменно не оглядываясь даже.

Уходят от меня как можно дальше –
кто кучками, а кто по одному.
Те по сердцу, а эти по уму.

Гляди-тка, я и сам уже не против
просеменить за ними подворотней.

Закреть окно, задёрнуть занавеску
в отместку солнцу и луне в отместку,
и, может быть, представится иное –
не опустевший двор, зажатый в клещи
двух угловых домов, а то, что хлеще
метафоры, надёжней паранойи –
желание любить и быть любимым
возвышенно, восторженно, былинно.

Капризами грозы наскучат вёсны
причудливым, волнующимся, юным...
Небрежно налегающий на вёсла,
закатывая стынувшие луны,
седеющий, ворчливый, неомытый –
невыносим, до дьявола несносен! –
и он уплыл, оскалившийся мытарь,
в такую померанцевую осень.

Из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой
я пью который день подряд, мой милый друг, украдкой.

И сладок миг, и горек вкус. Душе не до печали.
Был послан *трезвый образ жи*, предписанный врачами.

Мне хорошо, мне хорошо. Я без причины весел.
Уже спадает на окно, как занавеска, плесень.

Гори, гори, моя звезда, гори, гори, не падай.
Не заменить твой яркий свет ни рампой, ни лампадой.

Ах, эти странные врачи! И сами мы с усами.
Кто сможет выразить в стихах всю глупость предписаний?

Кто сможет высказать в словах, как сказочку поведать,
что лечит от ненужных дум таблетка до обеда?

Ещё чуть-чуть, один глоток – и позабуду вовсе
о том, что за моим окном решётчатая осень,

о том, как я, мой милый друг, себя в такое вляпал.
Давила правильная жизнь мне на сердечный клапан.

Трепала, точно пацана нашкодившего мамка.
У чистых помыслов совсем нечистая изнанка.

Гори, гори, моя звезда, а я допью украдкой
из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой.

* * *

Кружат тени листопада,
кличет сердце ворожбу:
не испытывай судьбу,
не люби меня, не надо.
Кружат тени листопада.

Не люби во мне поэта –
напророчено ему
лишь дырявую суму
на руках носить. За это
не люби во мне поэта.

Он пресытится любовью.
За подол да за рукав
всех девчат перетаскав
на край света за собою,
он пресытится любовью.

Не люби меня, не надо,
не испытывай судьбу.
Кличет сердце ворожбу,
кружат тени листопада.
Не люби меня, не надо.

Слышишь, Черри, слышишь,
Черри, видишь, Черри,
ветром раскачало месяца качели.

И звезды не видно, только листья кружат.
Разве нам с тобою это было нужно?

Нам бы до рассвета ноября хотя бы
молча оглянуться – возвратить сентябрь.

Видишь, Черри, видишь, злая осень лижет
ливнями асфальт и мостовой булыжник.

Как же получилось так, что лето вышло,
сердце отлюбило, пожелтела вишня?

Разве мы от жизни этого хотели?
Слышишь, Черри, слышишь, месяца качели...

Это осень. Я видел. Её предрассветные ливни
полоснули по венам берёз перочинным ножом
и оставили несколько тонко изогнутых линий,
так похожих на имя твоё и на имя моё.

Это осень царапала мокрыми пальцами землю,
когда ты целовала его. Был ветрами сожжён
в отсыревшем камине оврага туман. Даже зелень
невысокой травы там играла холодным огнём.

Это осень срывала собаку с цепи, точно с веток
моих губ пожелтевшие листья неправильных слов.
Я молчал. Это осень горела... И лунного света,
мне б хватило на то, чтобы вымыть сутулую тень.

Только осень! Не думай, что я в этом как-то замешан,
что причастен я к этому как-то. Моё ремесло –
приукрасить любовь нелюбовью,
ни больше, ни меньше...
Заебала, короче, меня эта вся хренотень.

* * *

И было всё, и ты уже была,
и дети намечались, и февраль
с упорством молодой домохозяйки
мыл окна на рассвете добела
и рисовал порхающие стайки
амурчиков на стёклах, снежный вальс,
и ветер был, и ты уже была...

И газовая, старая плита
на шесть квадратов кухни, и тепла
достаточно – не думать о камине.
О том, что надо щели залатать,
не думал я, и не было в помине
ещё зимы, а ты уже была,
и ветер был, и старая плита...

И было всё без боли, не до зла.
Изгиб дивана шею не ломал,
когда в мои трясущиеся руки
ты грудь свою молочную несла,
а на плите взволнованная турка
на белом рисовала терема
кофейной гущей. Было не до зла.

И ветер был, и ты уже была
намного старше. Господи, прости.
Я забываю прошлое, вестимо.
И, кажется, теперь, без бла-бла-бла,
теряет жизнь тепло, теряет стимул...
А детям удаётся подрасти,
и всё, что было – ты уже была.

А снега-то, снега насыпало.
Деревья по грудь занесло.
В загуле метелица сиплая –
дородная баба с веслом.

В загуле. Дороги растасканы.
И мечет, и рвёт – горяча.
Такая прижмёт к себе ласково
и шею свернёт невзначай.

* * *

Ветер вьюжен, ветер вьюжен
за окном. В окно. В окне.
Был бы я кому-то нужен,
был бы кто-то нужен мне.

Забродили мысли, скисли,
настоялись в голове.
В одиночестве от мыслей
можно и осоловеть.

Я в окно глазами воткнул,
точно нож калёный в грудь.
Надо, надо выпить водки,
помолиться и уснуть.

Эй, вы, люди-человеки!
В грязь лицом ложится *снех*.
Если грешен, то навеки,
если вечен, то за грех.

Спать пошёл, к чертям собачим,
успокою сердце. Но...
Что за сука снова плачет
мне в открытое окно?

То ли я на этом свете,
то ли я уже на том.
Кто там?
Ветер.
Кто там?
Ветер,
ветер, ветер под окном.

Выпью водки. Водка кстати
убежавшему с ума.
На мою срыгнула скатерть
снегом пьяная зима.

От себя не отмолиться,
от себя не убежать.
Кто там рвётся белой птицей
в мою комнату опять?

Это ветер. Ветер вьюжен
за окном. В окно. В окне.
Только ветру я не нужен,
и не нужен ветер мне.

С каждым днём холоднее. Не на шутку морозы
разыгрались ветрами, точно малые дети.
Выйдешь пьяным на улицу – станешь тверёзым,
совершенно тверёзым минуток за десять.

Завывает собака, ветры несут: «О Боже,
не меня ли морозы выживают со свету?»
Только всё холодней, снега больше и больше.
До собаки дурной Богу дела-то нету.

Ай ли есть до меня? Отверните иконы.
Мои губы без проку Богу верное пели.
То ли клонит ко сну, то ли к бодрости клонит,
то ли чёрт знает что в голове от метели.

* * *

Мы говорили долго, ни о чём,
не помню даже тему разговора...
Мне тень твоя садилась на плечо,
как на плечо садится только ворон.

И я стоял откинувшись назад,
такой очаровательный негодник.
(Кто сможет нынче ласковой назвать
принявшего косяк за подлокотник?)

Я был нетрезв. Но это ж не беда.
Ах, если б знала ты, какое детство –
прийти к тебе, не чувствуя стыда
за то, что пил с друзьями у подъезда.

Мир уплывал неведомо зачем,
неведомо куда за разговором,
и расшивала кожу на плече
мне тень твоя, а не какой-то ворон.

* * *

Пейзаж в окне меняется некстати
по прихоти заснеженного марта:
изогнутыми улицами катит
метели обруч маленькая Марта.

Ещё вчера казалось, что недолго
до солнца, отражённого в апреле,
до радуги, до грёз, до гроз – да только
не кажет нос на улицу Апрель.

Худые, неприкрытые листвою,
дрожат деревья – вылезли из кожи
мурашки почек, машет головою
холодный ветер в сторону прохожих,

и катит обруч маленькая Марта,
изогнутыми улицами катит.
По прихоти заснеженного марта
пейзаж в окне меняется некстати.

Господь с тобой,
нужна как чёрту ладан
любовь твоя. Последние три дня
мне хорошо не оттого, что рядом
случайно полюбившая меня.

Весенних губ дыхание и нежность
зелёных глаз, и робкое тепло
дрожащих рук я б с лёгкостью заснежил
кристаллами невысказанных слов.

Гляди, весна нашёптывает иней,
рисует числа пальцем на стекле:
два дня назад, вчера, сегодня. Стынет
на окнах свет не только в феврале.

Гуляет март по улицам. Погода
невнятная. И снег, и дождь, и град.
Не спрашивай меня, кому угодна
затеянная временем игра.

Я сам не знаю.
Кажется, впервые
весна такая.
Только не о том
я говорю.
А ветер бьёт навывлет –
короткими –
по щелям
сквозняком.

Господь с тобой, хорошая, развею
дурные слухи – двери настежь – пусть
не говорят, что я в любовь не верю,
не говорят, что я любви боюсь.

Не говори. Ведь что-то было. Было?
А хочешь (мне, пожалуй, всё равно),
я назову тебя своей любимой
и высажу ко всем чертям окно,

чтоб там весна не рисовала числа:
два дня назад, вчера, сегодня, бя...
Мне хорошо – я снова научился
лукавить и обманывать себя.

* * *

Всё суета, мой друг, всё – суета.
Не говори восторженно, не думай,
что, добежав до возраста Христа,
сумеешь в одночасье наверстать
упущенное в молодости, друг мой.
К чему такой возвышенный посыл,
мол, если надо – прошлое догоним?

...Всё то, что ты когда-то упустил,
спокойно умещается в горсти,
на детской помещается ладони.

* * *

Над опустевшим переулком,
где даже ветер недвижим,
взлетим, душа моя, покурим
за удавшуюся жизнь.

Нам будет радостно и больно,
плененны будем и вольны
разрезать небо голубое
до основания луны.

Оставим прошлое, помянем.
Печаль от сердца отлегла.
Последний раз играет пламень
в размахе нашего крыла.

СРЕТЕНКА

«Это место не стоит скорби...»

Е. Рейн

Было предрешено.
Перед свадьбой
в разбитое зеркало
погляделся. А как хорошо
мы гуляли по Сретенке.

За ларёчками ларь –
не пройдёшь,
непременно затаришься,
и последний фонарь
станет первым товарищем.

Был приветливым день,
было солнце
таким непосредственным,
что почище блядей
обнажалось на Сретенке.

Разгуляться – пустяк.
Проявляешь
в горячке усердие
больше, чем на пятак,
меньше, чем на предсердие.

Покатилась Москва –
ей что в горку, что с горки –
по Сретенке.
Мне теперь тосковать
и на прошлое сетовать.

* * *

Ослепший Моцарт кутается в плед,
прижав к себе продрогшие колени.
Уже написан реквием, отпет
глотнувший яда мученик Сальери.

Какой сегодня день и год какой?
В каких одеждах тени с пьедестала?
В лечебнице уверенный покой,
пока рука до горла не достала.

Пока ещё он помнит о тепле,
о дочерях и бедной Кавальери.
И кутается, кутается в плед,
прижав к себе продрогшие колени.

И спит в трактире пьяный музыкант –
пока ещё доволен, верен, кроток,
но в окна занавешенных зеркал
уже всю глядится смуглый отрок.

Разлив дорог – весенний дорог плен.
Извозчик. Помутнение поверий.
Ослепший Моцарт кутается в плед,
и напевает реквием Сальери.

Надо бы новый костюм, обновить гардероб мне,
охлануться, подстричь аккуратно усы,
пару причин подготовить для жизни загробной,
туфли купить. (Не лежать же мне вечно босым!)

Словом, себя обозначить к последнему шагу –
окна открыть, пораскинуть спокойно мозги,
соком запястья вскормить перочинную шавку,
шею намылить и мёдом намазать виски.

Что же ещё? Написать завещание? Бросьте!
Некому, стало быть, нечего мне завещать.
Всё, что имею теперь, это кожа да кости,
глупое слово «прости» и пустое «прощай».

Всё, что теперь получается, это неважно,
мягко сказать, в этом нет убедительных тем.
Выпит рассвет, опустевший стаканчик бумажный
может наполнить закат, а потом... а затем...

Что же ещё? В голове ни рубля, ни верлибра.
Нынче весна, значит, можно – шагал без плаща.
(Туфли, костюм, безопасная бритва.) Обрыдло
глупое слово *просить* и пустое *прощать*!

Вроде бы всё. Не упущена даже причина,
пара причин, упомянут некстати Шагал.
Сделано дело, смотрите, отважный мужчина
чинно рванул под уздцы и вперёд пошагал.

В прошлый век ухожу
без оглядки на век настоящий.
Среди мёртвых поэтов
я самый изысканный труп.
Неживые глаза
на могильные камни тарашит
желторотый закат –
мой навеки единственный друг.

В прошлый век ухожу.
Все мы в прошлое как-нибудь канем.
Проявить силу воли
и с богом уйти до морщин.
Нарисуйте меня
позолотой по чёрному камню
сумасшедшим немного,
улыбчивым, глупым, смешным.

2002-2006 гг.

КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ

II

И пусто, и только раздолью дано
увлечь ненасытным потоком.
Ни милого друга, ни бабы дрянной
под так называемым боком.

Намедни развёл и подруг, и мосты,
друзей озадачил, а впрочем,
я всем насоветовал тот монастырь,
в который стремился не очень.

Ушёл бы в запой – и в запое ни зги,
от здравого смысла обрезки.
Слыву человеком отчасти мирским,
отчасти божественно мерзким.

В такую ночь оседлый берендей
(не по меже, а лемехом по коже)
возделывает почву, но, похоже,
не верен плуг височной борозде.

И вкривь, и вкось, по белое лицо
располосован мыслями своими.
Они на раз гнезда ему не свили,
но постарались, вывели птенцов.

И сказка ложь, и присказка, увы.
В такую ночь, нисколько не радея
о сделанном, по праву берендея
заброшу плуг и стану кочевым.

Не столько отбрит,
сколько выбрит.
Надеюсь, что с этого дня
приподнятый ворота выверт
уже не испортит меня.

Надеюсь, осанка не выдаст,
свинья с потрохами не съест.
Всего-то полжизни на выброс
пошло, а не наперевес.

Неведома вечность неделям.
Я скромн, поскольку не пьян.
Ко всем потаённым борделям
расправлена поступь моя.

И небо сквозит по заулкам,
и яблочко с яблонькой врозь.
Ни боли, ни счастья, ни звука.
Что выросло, то не срослось.

* * *

Сыну

Много в тебе от матери,
выпита боль с лица.
Брови давно утратили
скорбную тень отца.

Путьями небо высекли
так, что в глазах рябит.
Я без тебя на высылки
двинул со всех орбит.

Не предавался панике,
будто во мне гранит.
Этот невидный памятник
ставился на крови.

Под сырую гармонию незатейливых туч распевался рассвет, голосил без конца, то все разом часту, то частушки пошту – так, что капало красное солнце с лица.

И разнились деревья с холмами слегка содержанием форм, и холодный ручей оживал, и казалось, что немочь слегла, а не я. Ни сказать, ни подумать точней.

Чуть левее ручья, где тропинка теперь, где трава не растёт, у замшелого пня я срывался, и солнце срывало с петель, я катился, и небо катило в меня.

Не поверят, кому рассказать, не прове. Чуть правее ручья рос ореховый нимб. Я прикладывал пальцы к пустой голове, поклоняясь ему, потешаясь над ним.

Кому небыль, что боль головная, кому доверять, а кому опрометчиво льстить, понимаю. Закат под лопаткой кольнул: это стих, это стих. Это ль сти?

* * *

Света белого подруги,
перед обликом судьи
не заламывает руки
вольный пасынок судьбы.

Он грехами преумножен
и скабрезностями сыт,
у него на всё, что можно,
член рогаликом висит.

Не за прошлое в ответе,
просто вышел – невесом,
как плясал на вашем свете,
так попляшет на своём.

Смотри сюда, покамест пятаки
не лягут на опущенные шторы,
ты будешь неоправданно жестоким
и в то же время ласковым таким.

Смотри сюда, почти наверняка
увидишь, как легко и бескорыстно
твоих противоречий коромысла
качаются на шее двойника.

И рядом с ним не думай ни о чём.
Ещё одна коса найдёт на камень:
земли не ощущая под ногами,
ты музыку почувствуешь плечом.

* * *

Лишённый детства собственных детей,
я всё ещё надеюсь встретить старость
не в местной богадельне, как пристало,
а где-нибудь в борделе между тел
двух непотребных девок,
всем на зависть.

Глядишь, надежда совести польстит,
изменится покроем скупой одежды.
Но сандалет за босу ногу держит
того, кто пишет этот самый стих,
кто просто пишет стих,
как точит стержень.

Надень пиджак за тридцать три рубля
и затяни гофрированный галстук
на белых гландах, и глаза погаснут.
Я задыхаюсь, говорю без бля,
но я иду ко всем чертям
на кастинг:

привет, привет! Я поклоняюсь тем,
в которых я, как сумрак, обесточен;
в которых я, как хирургия, точен...
Я редко вижу собственных детей,
и этот стих не больше,
чем подстрочник.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

И луна побелела,
и сумрак повис над сторожкой.
Время полночь.
Но, занавеску свечой серебра,
я уже ни к чему не стремлюсь,
мне довольно того, что
у меня есть дракоша,
похожий чуть-чуть на тебя.

Его тонкие лапки
оправлены всё коготками,
он свиреп и бесстрашен,
в обиду не даст никого.
Я к нему прикоснуться боюсь,
я большими глотками
пью дыхание ночи,
подолгу смотрю на него.

Мы с дракошей давно
не встречаем закаты, рассветы.
До полудня продремлем
и выйдем, к помину легки.
Там на улице люди косматые
воют, что ветры,
а в сторожке тепло,
и в буржуйке трещат угольки.

А кажется, воздух качнулся тихонько и замер.
В прокуренной комнате стены коричневый бархат
надели, и солнце дневное стремится глазами
в замочные скважины окон, и осенью пахнет.

В семейных трусах, непонятно, которые сутки
лежу я: обложено тело листьями-листами
и тонет в подушках дивана. Всё это, по сути,
набросок, который картиной когда-нибудь станет.

Небрежный мазок по холсту непричёсанной кистью.
Кто краски мешал? Кто добавил салатный уксус?
Попробуйте день на язык. Он и сладкий, и кислый.
Зелёное яблоко – радуга этого вкуса.

Короткая тень, не длиннее мизинца ребёнка –
по-на подоконнике тень от засохшей герани.
Цветы почернели. Застыли, печальные. Бойко
когда-то они фиолетовым цветом играли.

По сути, набросок ещё не картина, но в каждом
наброске есть что-то от жизни для новой картины:
подушки дивана, занятое солнце и скважин
замочных стекло, и герань, и, пожалуй, гардины...
И воздух, который качнулся тихонько и замер.

* * *

Сколько тебе осталось? И день за два
можно считать, если способность к счёту
преувеличена собственной силой воли,
непонятно откуда взявшейся; и, чего там
говорить, непонятно зачем и кому сдана
жизнь как начинка к утренним равиоли.

Закуска в постель – завзятая ерунда.
Город в окне – и тот на привычку бросить
пить по утрам больше теперь походит,
чем обещание вывесить милый постинг
через недельку в Яндексe и рыдать,
мол, чрезвычайно пьян, но одет по погоде.

Долог ли путь твой, короток. Никого.
Не поднимая век, выпиваешь воздух,
точно коньяк у самого синего морга,
и на неё (на жизнь), лежащую возле,
даже не смотришь, не наступаешь ногой.
Сколько тебе осталось? Считай, немного.

* * *

На каждый шаг звонят колокола,
и подворотня вымощена снегом.
Куда ни глянь – увесистые серьги
на фонарях, и водка из горла,
и есть во что налить,
да выпить не с кем.

Куда глаза не смотрят, увлеку.
Я за тобой последую вслепую
на край земли,
в ближайшую пивную,
куда угодно, но не вопреки –
благодаря тому, что не ревную.

Птица, медленно парящая над горизонтом,
птица, похожая на твои голубые глаза,
то надменна, как солнце перед восходом,
то пуглива, как солнце, уходящее на закат.

Безумная птица, не знающая препятствий,
мудрая птица, затаившаяся между камней.
Каждый взмах крыла этой птицы явствен,
даже тот, который не обращён ко мне.

Единственная, окружённая моей заботой,
о которой и петь хочу, и говорить, и писать,
птица, медленно парящая над горизонтом,
взволнованная птица, пронзающая небеса.

Не умер я – и только потому,
что смерть не стоит ни любви, ни желчи.
С недавних пор, сжимая пятерню,
увлёкся жизнью, как одной из женщин.

Где ликовало прошлое, теперь –
до чёртиков отъявленных, до колик –
ликует настоящее. В тебе,
мой мнимый друг, случается такое?

Становится *Немировка* острее
и тяжелей махорки лёгкий *Winston*,
и, кажется, ещё не постарел,
но к мудрости уже приноровился.

* * *

Представь меня бегущим по волнам,
где запах моря, как безумье, острый,
прогорклой пены выцветший волан
напоминает очертаньем остров.

Где наши взгляды встретиться могли
однажды – дело было за немногим,
где ночь светла, где не бывает мглы,
поскольку там нет места одиноким.

Где всё, что есть. В молчании верна,
хотя бы раз, искусственно, невольно
представь меня бегущим по волнам
и обратись в бегущую по волнам.

Напротив дома не просто церковь,
но жизнь, которой не будет рядом.
Скупые строки на лист тетрадный
ложатся ровно, всё ближе к центру.

Мы не венчались, нетрезвый попик
не пел псалмы нам, не правил жизни.
Во мне на счастье живущий шизик
был в одночасье с другими пропит.

Казалось, буду слепым и кротким,
что агнец Божий, как солнце бежев.
Ты относилась ко мне небрежно,
а мне хотелось любви и водки.

Погода радует, и мысли не гnevят,
и солнце мнёт лучами холокоста:
мне в обществе потерянных ягнят
не ощущать иного превосходства.

Не чувствовать иную благодать,
не холить, не лелеять мне иного.
Всё верится, что больше никогда
не задержусь на облаке терновом.

Ложится день, затянутый в хитин,
за горизонт, но лучика не тушит.
Как хорошо, что я предвосхитил
спокойствие, врачующее души.

* * *

Мы ничего не можем
и ничего не значим.
Были бы чуть моложе,
было бы всё иначе.

Можем окинуть взглядом
небо над эстакадой.
Только дымится ладан
прямо на дне стакана.

В детстве таким неясным
и не таким фигурным
кажется путь от яслей
до погребальной урны.

Не веселят рассветы.
Не тяготят закаты.
Под эстакадой ветер
ходит с козой рогатой.

Вот и живём, как можем,
множим свои печали,
точим рога проходим,
примусы починяем.

Семь сантиметров снежного покрова.
И дворники в скользящем *на шассе*
с лопатами вдоль вязкого шоссе
задвигались эффектом парниковым.

Что улица, что праздничная зала –
мне всё едино. Ветер в полусне,
деревья, точно знаки на письме,
и слякоть животворнее бальзама.

«Февраль. Достать чернил и плакать!»

Борис Пастернак

Со мной никогда ничего не случится.
Я скукой проверен, печалью испытан.
Смотри, как меня подпирает отчизна:
и справа, и слева могильные плиты.

И снизу, и сверху сплошная солома,
венки от подруги, от жён и детишек.
Я виделся им вымирающим словом,
и был я, как есть, покаяния тише.

И всякие мысли сжимал до глаголов,
и было глаголам отказано в действе.
Июньское небо, февральское горло,
апрельская зрелость и –
вечное детство.

Видишь, погода меняется к лучшему.
Славный прогноз обеспечен гарантией.
Время расцвета страны аллилуйщиков
не за горами, сказали каратели.

Всё, что обещано, станет заглавием.
К светлому будущему в экспедицию
двигайся, точно бычок на заклание,
если не передом, то ягодицами.

Вслед за тобой, величаво немотствуя,
по-театральному – строго по линии
определённой, как будто по мостику,
я поспешу, но застыну под ливнями.

* * *

Новейшая история. Экзамен.
Я подготовлен. Слышу за версту,
как тощий век, огромными глазами
моргая, пожирает пустоту.

И громогласны свежие газеты.
Им всякий вторит, не снижая тон.
Всё хорошо. Почищены клозеты.
Туннель проложен. Бог изобретён.

* * *

Когда в расеях строился бордель
на двести миллионов прихожан
с размахом, от которого балдеть
потомкам, я себя воображал

то каменщиком с пальцами жида,
то кузнецом, то плотником, и мне
подвластны были ветер и вода,
и глина, побывавшая в огне.

Я был одним из лучших работяг.
И не внапряг мне было дотемна
выуживать из грязи известняк
и обращать бараки в терема.

Не отпускал испытанных речей,
не говорил случайные слова.
Я, как умел, на каждом кирпиче
свои инициалы рисовал.

Вот почему за вашу благодать
несу ответ, столетия спустя,
и знаю то, что знаю: никогда
бордель не рухнет,
дети не простят.

Уходи от погони
глухим переулком столетий,
сквозь оплавленный рот
проходного подъезда кружись,
растворяйся в дожде,
стань прозрачнее собственной смерти
и не думай о том, что способен
предчувствовать жизнь,
всю её роковую мятежность,
вибрацию плоти
и томление духа.
Я вслед за тобой ускользну.

О литое полотнище полдня
ветрами колотит
вековые деревья,
и небо идёт на грозу.

* * *

Но город пуст, как божья пятерня,
просившая когда-то у меня
любви немного, прочему не веря.
Я шёл к нему века тому назад,
и не считал безусый циферблат
к моей руке пристёгнутое время.

По улицам, подобно голытьбе,
гоняли ветер хлопья голубей,
росли дома с покатыми плечами,
брусчаткой покрывалась колея,
а я всё шёл, вернее, ковылял,
ещё вернее, длил свои печали.

* * *

Под утро, пока не споют петухи
будильника, в тесной каморке
спокойно, и только блуждают стихи
по чёрной, как сажа, подкорке.

И кресло у столика, и шифоньер
в лучах золотых озарений,
и пыль – обладают значением сфер,
и я в этих сферах размерен.

Открыт сквозняку я и не по годам
влюблён, и зятанут в постромки.
Вселенная здесь, а не где-нибудь там,
за окнами тесной каморки.

Я здесь обретаю фигурную речь,
и каждое слово всесильно,
и люстра похожа на вывихи плеч
небесного сына.

Она не живёт в другом часовом поясе,
но иногда приезжает ко мне на поезде,
проводит беседу, поит меня и кормит,
да всё норовит меня изменить в корне,

перелопатить душу, моралью выесть,
а у самой вырез на платье, такой вырез,
а у самой такие мысли, такие, впрочем,
любит она меня, любит меня, прочит

в мужа себе, заговаривает, не зевает,
катает на белом трамвае, таком трамвае,
и носит очки, и думает, и не смеётся,
картавит слегка: Моцарта кличет *Моцарт*,

и ноты читает, и это за честь почитает.
Вроде бы мне на черта она и не чета мне.
Мне бы зависнуть с пивом в ночном клубе,
но любит она меня, любит меня, любит.

* * *

Открыта дверь
на лестничную клетку,
похожая на скомканную кепку,
которую разносил когда-то
вождь мирового пролетариата.

За дверью той,
как будто на перинах,
облокотясь на мрачные перила,
сизжу с лицом тупого недомерка,
со мной сидит революционерка.

Я полон дум,
она – полна не меньше,
и таракан, казавшийся умершим,
является пред нами неперменным
прообразом грядущей перемены.

Он к нам ползёт,
над ним кудлатый ворон
другой эпохи, пыхает Аврора,
и мы ещё глазам своим не верим,
но исторически благоговеем.

И ночь в окне
сдвигается по фазе,
и сообщают по мобильной связи,
что Зимний взят, восходом опалило
и лестничную клетку, и перила...

Прикроем дверь,
оставим без присмотра
обитель нерушимого комфорта,
где я сизжу, и лампочка не меркнет,
и хорошо революционерке.

* * *

Давай соберёмся на майские в лес,
пол-литра возьмём и шашлык на развес,
мятежно покутим, покурим травы:
мне хочется праздника без головы,
такого размаха, таких амплитуд,
каких грозовые ветра не плетут
из плотного облака в пасмурный день,
когда горизонты – и те набекрень
сползают охотно, не видно ни зги,
и крутит деревья, и сносит мозги
под самое нечего делать стократ,
и женщины любят, и трубы горят.

* * *

О любви не ведёт разговор,
не ведёт разговор,
нежным хрипом ссылаясь
на ветром омытые гланды.

Пахнет йодом она, как сосновый
предутренний бор,
как больница, аптека и как
распустившийся ландыш.

Как настойка из морепродуктов.
...И этот катрен
был нанизан на рифму,
что меч на живот самурая.

Сколько глупостей я зарифмую
у милых колен,
то в любви возрождаясь,
то снова в любви умирая?

* * *

Говори, заговаривай боль
и во снах обречённого явствуй.
Грациозна твоя балаболь,
как моё тяготение к пьянству,
как мерцания тысячи лун
под упругими бликами солнца.
Я сосцы твоих слов расчленю
матерельым оскалом саксонца.
Устаю в тишине гробовой.
Не жалею междометий, потоком
говори, заговаривай боль
и питай меня соком.

«Свеча горела на столе...»

Борис Пастернак

Две тысячи восьмой от Рождества
Христово не скатился по наклонной.
Оконной раме снег, потом листва
навязывали значимость иконы:
то налипали образом твоим
неуловимым, то преображали
окрестности в материю скрижали.
...В тот год я был тобою сотворим
и разделён, подобно крепкой смеси,
на прошлого и будущего взвеси.

Здесь поворот.

Мне видится за ним:

земля обетованная вместила
достойный дома ветхий мезонин,
где развернётся наша палестина
во всей красе нечаянных широт,
и будут ночи – дней уже не будет,
и будет недостаточно прелюдий
к священнодействию и, наоборот,
довольно самого священнодействия:
зачатия законного *младенства*.

Полгода вместе: осень развела такую дрянь под окнами, что боязно выскакивать на улицу из поезда пятиэтажки нашей без весла, без компаса и надувного пояса.

Полгода вместе под один рефрен сосуществуем (не сказать, играемся в стратегию клинического равенства): жена и муж, как есть, – олигофрен, которому бронирована здравница о двух купе. И через много лет мы повторимся в детях.

На колёсиках наш бронепоезд рассекает просеки, и оставляет пенящийся след на тротуарах подмосковной осени.

ОБРЫВ

Всё предсказуемо... И то,
что кажется необъяснимым –
всего лишь чёрно-белый снимок,
где ты да я, да мы с тобой
стоим, объята немотой,
и держим над обрывом сына.

Расплетаешь постель, как речную косу.
Вот и я, успокоясь, готовлюсь ко сну.

Так в иное пространство с мыска на мысок
переходим – и нас поглощает песок.

Просыпаешься, будишь меня. За окном
только свет фонарей и луны водоём.

Всё настолько обыденно, что на душе
торжествуют одни речевые клише.

* * *

Холодно, холодно мне и печально,
даже когда прикасаюсь к тебе.
Не потому ль пожимает плечами
белое небо в моём октябре?
Холодно, холодно мне и печально.

Было ли, не было, помнить не помню.
Ты говорила – и верилось мне,
что заполняет сердечную пойму
белое небо, которого не...
Было ли, не было, помнить не помню.

Сыро на улице, в доме тревожно.
Руки на холоде, ноги в тепле.
Будто на все времена подорожник –
белое небо в моём октябре.

* * *

Ни предрассветных ожиданий,
ни оголтелых вечеров.
Который год как между нами
не происходит ничего.

Примерны дни и сны покойны,
невозмутимо далеки.
Сменились исподволь поклоны
на неуместные кивки.

Не жизнь, а сдобренная догма.
Уже не чувствуя стыда,
я возвращаюсь ненадолго
и ухожу не навсегда.

Прости за дурную привычку тебе не писать,
но это занятие кажется мне интересней,
чем просто смотреть, как протяжно ползут небеса
туда, где мы будем, когда упокоимся с песней.

Прости за дурную привычку тебе не звонить.
Ты с детства хотела казаться вне доступа связи.
И если услышишь гудок и мой шепот за ним,
то лучше разбей телефон и гуляй восвояси.

Прости за дурную привычку – нормальный рефрен.
Он так постоянен, как чувство, рождённое нами.
И что-то хорошее слышится в каждой строфе,
И нежное что-то молчит уцелевший динамик.

Прости за дурную привычку: тебя не любить...
Пожалуй, что в этом единственном я безнадежен.
Каких ещё надо высот мне достичь и глубин?
Куда позвонить, написать?
Позывные всё те же.

* * *

Никто не знает, где ты, потому
неведома печаль твоя и радость.
К моей судьбе
расчётливо прилядьясь,
своей – не доверяешь никому.

Твой теремок и низок, и высок,
невзрачен так,
что большего не надо,
и тень его бывшего фальшфасада
воистину лежит наискосок.

Я в абсолютной невесомости
(не ради смеха и не для)
живу оторванным от совести –
тебе одной благодаря.

Здесь с наилучшим показателем,
целенаправленно весьма
проходит, будто по касательной,
благодаря тебе весна.

Закат, под стать журналам,
глянцевый,
взрывоопасный, как пластик,
и нет возможности покаяться,
и нет желания простить.

* * *

Говорили мне черти: стихов не пиши,
лучше пой и пляши на погибель души.

Прожигая судьбу, привыкаешь к огню.
Я, как мошек, удобные мысли гоню.

Я стихов не писал, я не пел, не плясал.
Одиноко бродил по заветным лесам.

Не дорогой прямой, но звериной тропой,
где любой бугорок – это шаг за Тобой.

И подобно слепым, осязающим свет,
я предчувствовал Твой
выпирающий след.

* * *

Первое увлечение женщиной
помню, будто случилось оно недавно:
тяжелее отцовской затрешины
было по темечку, виски сдавливало.

Эдакий симбиоз радости полоумной,
быстрой и боли глубокой, адской.
Хорошо ещё, что женщина была юной
и мне – около пятнадцати.

Теперь, приступая к ежевечерней
молитве, думаю всенепреренно,
что моё последнее увлечение
светлее первого.

* * *

Прятались в самом центре Санкт-Петербурга,
можно сказать, что растворялись в толпе
и смотрели, как Невский на солнце булькал,
всеми цветами радуги оторопев.

И видели, как асфальт рассыпался мелким
почерком школяра, окислялась медь,
и не попадалось нам ни одной скамейки,
на которой можно было бы посидеть.

Очумевшие призраки пожелтевших зданий
носились в воздухе, как мальчики до битья,
земля и небо менялись местами,
в результате чего возникало
ощущение небытия.

* * *

Ко всему прочему я равнодушен, пожалуй,
только бы знать, насколько печаль близка,
когда женщина, снявшая ночную пижаму,
держится на расстоянии одного
стремительного броска.

В какой-то момент всякая бытовая мелочь
(будь то капающий где-то на кухне кран,
сползающие обои, житейская неумелость)
уходит на второй план.

Говорю по писаному, без единой запинки,
но волнения выдаёт превентивный взгляд.
Вот и моя ночная пижама висит на спинке
стула, приставленного к дивану
около пяти лет назад –
всего лишь материализовавшийся призрак
желания, но дыхание уже не касается губ.

Оказывается, одиночество не лишено
первичных половых признаков
и находится вне времени,
вне социальных групп.

Понимаю, к чему вы в последнее время клоните.
Я и сам готов послужить аргументом вашего века:
когда жена мастурбирует в соседней комнате,
перестаёшь чувствовать себя живым человеком.

Переминаешь складки одеяльные, мол, наладится.
Жизнь – хороший роман в изложении кратком.
Поначалу думалось, оденешь в ситцевое платье
и поставишь за ближайшим баракком раком.

Поначалу думалось, окликнешь по имени-отчеству –
всё одно, что крестик поставишь на карте винной,
но она оказалась олицетворением моего одиночества,
на которое поднимается разве что вполонину.
А вы говорите: импотенция тому виной, импотенция,
алкоголизм и прочая хренотень...

Опять не хватает желания к ней притереться,
почувствовать себя человеком
и умереть в один день.

ПТЕНЧИК

Нет у меня ни чувств никаких, ни чувств.
Я и сам не пойму, от чего и зачем лечусь.
Только слышу одно: птенчик с ума сошёл.
А я всего-навсего клюнул на посошок.

Клюнул одно, другое клюнул потом, потом
не под крылами, но перед лицом бетон...
Не оправдаться даже, такие мои дела.
К слову, зачем же мамка меня родила?

Видимо, думала, что оперюсь, научусь
чувства свои беречь, не жалея чувств.
А я норовлю с бетоном смешать лицо
в лучших традициях падающих птенцов.

* * *

В первой комнате жил я подобно Сфинксу, впрочем, и с этой участью поначалу свыкся. Перебирал друзей, загадки загадывал и расписался с какой-то гадиной.

Вторая комната была на Казанском вокзале и состояла из большого числа показаний: разъяснял, что отношусь к роду казачьему и крещусь на всякую всячину.

Третью комнату помню плохо, но вроде в этой комнате я размышлял о народе, мол, хорошо живётся тому, кто выжил, полюбив бабу самую рыжую.

Вот и четвёртая: в комнате пыль да копоть – можно о стену биться, в ладоши хлопать, переступить порог, пойти на попятную и не войти в пятую.

Я всё ещё пробую жить по-человечески:
не изменяю принципам, предаваясь мести,
даже старые пиджаки вешаю на плечики,
и каждое плечико знает своё место.

По утрам чищу зубы, принимаю душ и
щетину брею, точно снимаю бытия плесень.
Вы ещё можете услышать через отдушину
в ванной комнате, какие пою песни.

Но так иногда хочется взять и сломать её,
жизнь человеческую, предстать на последние
деньги перед любимой женщиной голым
принцем, выругаться на всё святое хорошей
матерью, нажраться и не попуститьсь,
в принципе.

2006-2010 гг.

ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ

III

Никакого счастья, понимаете, никакого.
Любовь естественна, как список патологоанатома.
Вы летаете, чувствуете себя раскованно,
а на самом деле просто распадаетесь на атомы.

Вы грешите на позднюю осень, авитаминоз,
на отсутствие денег, депрессию, мягкое сердце.
Вы такой, что волшебнику из великой страны Оз
(при всём желании автора) не отвертеться.

Вы из себя представляете ничего такого,
обычного человека, курящего, много пьющего,
и пахнете вы не лучше старого трико
какого-нибудь чемпиона по фамилии Плющенко.

Разлагаетесь на отдельные части слова,
не думает голова, не делают руки, не ходят ноги.
Никакого счастья, понимаете, никакого...
Надо отдать должное одиноким.

Даже самые страшные упущения можно
переквалифицировать в незначительные потери,
если женщина являет собой бесполезную вещь
в твоём заботливо созданном интерьере.
Как-то неловко существовать в мире,
где поднятый стульчак является камнем
препятствия в решении многих
социально-значимых задач.
Хоть пей натошак,
хоть плачь.

Отсутствие денег не отменяет желания жить красиво.
Глоток сырой воды по силе воздействия на организм
роднится с крепким баварским воздухом, из
которого тамошние жители варят пиво.

Одни подумают: потерял рассудок, третий день как
пьёт сырую воду и плачет от умиления, удовольствия,
другие скажут: из воздуха пиво никто не варит,
но из него можно делать хорошие деньги.

А я (последняя строчка выделена курсивом)
просто живу красиво.

А почему бы не стать мне
заслуженным деятелем искусств?
Я сегодня с женщиной ужинал –
без претензии на хороший вкус.

Сам себе казался каким-то опытным,
и глаза возводил, и два пальца гнул,
был настырнее механического робота
и проворнее антилопы гну.

Обслуга постоянно меняла пепельницу
и такое положение дел меня жутко бесило.
Хотелось ударить по столику penisом
сильно.

Я люблю смотреть
на забычковые сигареты,
мне нравится начатое,
но незаконченное,
и в этом есть что-то от настоящего поэта,
от заслуженного деятеля искусств.

Вот вам и все мои душевные искания,
вот вам и вся моя божественная плоть.
Принесите мне чистого цианистого калия,
потому что я уже готов умереть.

THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

Когда появится больше свободного времени,
я непременно займусь воспитанием
подрастающего поколения.
Все без исключения будут мной
самолично проверены,
пронумерованы, привиты, проклеены.

Хорошие дети имеют стандартное
программное обеспечение,
полную комплектацию,
безукоризненную комплектацию,
четыре конечности, что естественно,
здоровую печень и
являются гордостью отечественной селекции.

Я уже представляю себе,
как бежит коридорами узкими
новое поколение любителей симфонической музыки:
в одинаковых трусиках, в одинаковых маечках –
мальчики, похожие на девочек, и девочки,
похожие на мальчиков.

Никто не приходит в гости за просто так:
один положит на веко медный пятак,
другой венюк положит у ножек моих,
у ножек в белых тапочках,
холодных ножек.

Мне виделись в самые последние вечера
вульгарные женщины, мощные буфера,
качались проспекты, улицы гнулись,
а я был почти маленьким,
немного скучным.

Одни мне говорили про авторские права,
другим – на дворе дрова, не расти трава.
Хотелось от жизни великих опачек,
получились только апочки
и белые тапочки.

Вот и эта сука приходит, приносит торт.
Объясните ей, что не тот я уже, не тот.
Ни хрена не мыслю о том, что должен
на улице дождик идти, дождик,
нормальный дождь.

Мониторишь своё имя до поздних сумерек,
цепляешься за каждую фразу, сказанную о тебе всеу,
мол, всё ещё жив пьянчужка, мол, ни хрена не умер,
о нём ещё кто-то думает, смахивая слезу.
А я гуляю по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой.

Засыпаешь от усталости, просыпаешься от голода
и снова засыпаешь от усталости, смочив горло
водой из-под крана. Тебя не смущает присутствие
под окнами города, ровно как и его отсутствие.
А я гуляю по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой.

Читаешь чужие постинги в перерывах между запоями,
свои – на трезвую голову не воспринимаются,
и гордишься тем, что тебя запомнили
гуляющим по Тверскому бульвару:
сначала с левой ноги,
потом с правой.

Почему эта женщина проходит мимо меня?
Я же тут стою, а не где-нибудь там, за деревом...
Такие странные фразы в мою голову лезут
при виде чужой смерти.

Либо я получаю удовольствие от того, что она
захватывает, проходя мимо, даже не касаясь меня,
либо я не понимаю ничего, не хочу понимать,
не имею возможности.

Сказать проще – всё одно, что умереть дважды,
сначала написав, а потом осознав бессмертие строк.
В бумажном оформлении странные фразы
звучат как выдающиеся.

Ничто так не облагораживает жизнь, как смерть.
Запишите, пожалуйста, в своём блокноте,
посмотрите на женщину, которая проходит мимо,
удивляйтесь спокойно.

Глаза этой самой женщины распахнуты широко,
её волосы правлены серебряным гребешком,
она утром и вечером чистит свои белые зубы,
бреет лобок.

У неё сосцы – всем сосцам венцы,
у неё талия немного усталая
и круглый живот.

Приходи домой под утро
с расцарапанной спиной.
Дома ждёт жена, как будто,
ждёт рассерженная, но

ты приходишь, одиноко
озираешься, по-детски
отмечая, что на окнах
раньше были занавески.

* * *

Революцию сделали, а после неё хоть потоп.
Правое дело – два притопа, один прихлоп.
А я тут стою в сторонке, моя хата с краю,
деревья рубят, щепки летят, я – умираю.

Возникла реакция – контрреволюция, опа-оп!
Левое дело – два прихлопа, один притоп.
С первого взгляда сравнение кажется грубым,
но одинаково щепки летят и деревья рубят.

Руки сложил на груди, перекрестив лоб,
дабы не трогал меня с притопом прихлоп.
Не стремлюсь ни к рублю, ни к центу,
строго держусь по центру.

То есть, моя хата – самый крайний центр,
вернее, самый центр моей хаты с краю.
Здесь, на какое слово ни делай акцент,
всё одно получится – ближе к раю.

У неё температура тридцать девять и девять,
а он опять задерживается на этой своей работе.
Она понимает, что если делать, то брать и делать,
делать хоть что-нибудь и ничего не портить.

Она понимает всё, но ни к чему не способна.
Даже вилку в розетку вставить никак не может.
Она привязана к счастью, вечно не собрана,
пьёт лимонад, ест мороженое.

Она идёт улицей, бульварным кольцом, лесом,
её пугают молнией, ветром, дождём, током.
Она точно знает, что он охуенный слесарь,
но иногда думает, что из него никакой токарь.

Это её мечты за спиной мужчины, любуйтесь.
Она умерла вовремя, пока тот забивал гвозди.
А если вспомнить, что он подарил ей бусы,
то можно представить воздух,
которым она дышала.

И мне казалось, что жизнь моя
закончится в тридцать,
но я дотянул до многозначительных:
тридцать восемь,
и дальше пошёл, и Дон Кихот мне теперь –
не рыцарь,
и Санчо Панса теперь мне –
совсем никакой оруженосец.

Вот уж такое время,
что никто не в чести, никто не нужен,
а когда-то какой-то там Чиполлино вызывал слёзы,
и над книжкой Майна Рида, лишённый ужина,
я под одеялом с фонариком ёрзал.

А ещё помню, что Бога не было, был только Ленин,
а ещё знал, что мама есть, а папы нету и не было,
а ещё я верил, что у потерянного поколения
прямой путь на небо.

* * *

Придумал себе реальность,
сколотил по примеру ящика,
живу в ней, дышу сквозь щели,
питаюсь самим собой.
Наверное, только с уверенным
отказом от настоящего
можно приблизиться к сущему
и не уйти в запой.

Полное обособление –
осень всю улицу вымостит
не золотым булыжником,
но отлетевшей листвой, –
главное, чтобы прошлое
осталось необходимостью,
первой необходимостью,
первой и основной.

Лето, а если глубже копнёшь,
то весна заметнее
расходится по тротуарам
во всей небывалой красе.
Теперь навсегда:
снаружи солнечное затмение,
а внутри – рассвет.

Стоял у берега моря, и море было совсем синим,
бежал по равнине, и равнина была совсем узкой,
и видел горы, и в каждом камне видел своего сына,
и видел дочь свою в каждом пологом спуске.

Руки тянул вперёд, пальцы, будто слепец, на ощупь,
пил воздух, был воздух полон грозы, был полон,
открывал глаза, и день представлялся ночью,
закрывал, и ночь была светлее июньского полдня.

И поднимал голову, и голова была выше солнца,
и смахивал пот со лба, пока стоял, бежал, смотрел я,
и если был вокруг меня так называемый социум,
то он был для меня не более чем иная материя.

У Тимофея как-то случился свободный вечер,
и в этот вечер Тимофею померещилась фея.
Не то, чтобы он был по жизни с ума сверчен,
но именно в тот вечер головы не было у Тимофея.

Фея произносила речи, расправив белые плечи,
возвышалась над ним, как над военным трофеем,
и ему (так некстати) хотелось быть гуттаперчевым,
называться Орфеем, а не каким-нибудь Тимофеем.

Он весь вечер пел, не берёг ни почек, ни печени,
на столе танцевал, под столом проползал да охал.
Если можно в один вздох уместить вечность,
то Тимофею хватило бы и половины вдоха.

Свободный вечер, что фига у Бога в кармане.
Даже белая горячка имеет повадки феи,
не скажу какой. Давайте лучше помянем
Тимофея, ушедшего на покой.

Пока деревья были меньше,
чуть выразительней травы,
ладшки некогда умерших
моей касались головы.

Пока дома стояли вровень,
их тени так же вровень шли.
Кольцо больших и малых родин
сжималось в области души.

Пока созвездия сливались
в одну немислимую нить,
я мог два слова *боль* и *зависть*
на десять букв разъединить.

В метро, в электричке, в трамвае... что бы там
ни думала наблюдающая за нами старуха,
я всего лишь вечность перешёпывал,
касаясь мочки твоего уха,
и превращался в транспортное растение.
Ты гладила мою коленку, мне становилось тесно.
А кто-то другой писал за меня это стихотворение,
да и все остальные мои тексты.

МОСКВА, ИЮЛЬ, 2010 г.

Входила в город римская когорта,
к асфальту прилипали каблуки...
В какую форму мир ни облеку,
он всё одно бесформенный какой-то.

Туман к земле притянут хомутами,
деревья превращаются в желе,
но даже их не хочется жалеть,
поскольку сил на жалость не хватает.

Повсюду лень, томление, усталость,
безветрие, отсутствие воды,
и римляне, предвестники беды,
все, как один, с разверстыми устами.

И хорошо, что счастья нет, и ладно,
по крайней мере, в этом что-то есть:
на улице плюс тридцать шесть и шесть,
а у меня под мышками прохладно.

МАЗУРКА

Ничего необычного, просто живу, *какумею*.
Говорят, что любим я и всеми святыми храним.
Никаких аномалий, поклонов зелёному змею,
бесконечных истерик и прочей вселенской херни.

Аккуратное счастье моё совершает прогулки,
озирая холмы, так сказать, с высоты моих плеч,
как положено, утром и вечером, в темпе мазурки.
(Этот опытный танец любого способен увлечь).

Три восьмых на создание имиджа умного тела
и хождение по кабинетам пиздец-колесом,
пять шестнадцатых женщине отдано, ибо – хотела,
целый час – гигиене, а всё остальное – на сон.

Если сердце сжимается до состояния бога
от желания мир изменить, обновить его речь,
я дышу глубоко, и меня отпускает немного.
(Этот опытный танец любого способен отвлечь).

Ничего необычного, шаг мой и лёгок, и мягок,
гладко выбрит фонарь на углу и подстрижен изгиб
абсолютной дороги, но каждое слово двояко
понимаю и смысла (и сраму) не имеют мозги.

* * *

Представь себе, что папа любит маму
и мама любит папу до сих пор,
и если мама снова моет раму,
то папа чинит старенький забор.

Идиллия. Собаки лают редко.
Ты – только изучаешь алфавит.
Плющом увита скромная беседка,
где самовар, как вкопанный, стоит.

Растут в саду и яблони, и груши,
и вдоль забора зреют лопухи,
и ты садишься вечером послушать
родителей, читающих стихи.

В лучах заката стынут чашки с чаем,
на папе шарф, на маме нежный плед,
и весь твой мир нисколько не случаен,
и ничего не обещает бед.

Три года мне, и было мне когда-то
всегда три года, словом, ерунда,
и падал снег, вставал и снова падал,
и было так светло, как никогда.

И было так воистину спокойно,
и тихо так, что не хватало сна.
Я лез на стул, потом на подоконник,
смотрел в окно и прыгал из окна,

и падал в снег, вставал и снова падал,
и вырастал на четверть головы.
Оно мне надо было? Надо, надо,
увы.

Так просто жить, что хочется ещё,
ходить в плаще, донашивать пальто,
сносить пять пар ботинок и потом
ещё пять пар, ещё, ещё, ещё...

Так просто жить, что даже возмущён,
слегка растерян и сердит притом.

Так просто жить, что стыдно умереть,
внезапно, не предчувствуя конца,
из тела выйти, как сойти с крыльца,
и не войти обратно, умереть,

когда ты счастлив тем, что отрицать
способен то, что смертен.

1.

Только любовь, Марина, и никакого бренди,
молча войди, разденься, свет погаси в передней,

дверь посади на цепи, а полумрак – на царство.
Сердцу необходимо замкнутое пространство.

Здесь: ни стола, ни стула, сорванные обои
и на железной койке место для нас обоих.

Но это много больше, но это много шире
неба – в своём размахе,
солнца – в своей вершине.

2.

Ночь (или что-то вроде этого), спи, Марина,
страсть к перемене родин даже меня сморила.

Будто уселись в сани, катим от дома к дому:
то к одному пристанем, то прирастём к другому.

Стылое чувство долга не намотать на палец,
видимо, слишком долго жили, не высыпаясь.

Что же теперь согреет в этой ли, в той отчизне?
Спи, засыпай скорее, сон мудренее жизни.

* * *

И брат не заходит в мой дом,
стоит у крыльца.
Мерещится мне под окном
лицо мертвеца.

Прогнётся дощатый настил,
но выдержит дверь.
Никто бы к себе не впустил
такого теперь.

Он умер три ночи назад,
почил на кресте.
Иконы по дому висят
и смотрят со стен.

Закрыв занавеску плотней
и свечи задув,
смеюсь, отвлекая детей
от шума в саду.

*«Приближается звук.
И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа».*

Александр Блок

звук
но не звук
послушай
шёпот
но вряд ли
шёпот
я затыкаю
уши
не оглушило
чтобы

голос
вернее голос
воткнутый
в тишину и
не обнести
частоколом
раковину
ушную

голос
не голос
вовсе
через трубу
продели
мне уже
тридцать
восемь
слышимость
на пределе

крик
не простой
особый
нет
суета
интрига
я отличить
способен
крик от того
не крика

что-то
другое что-то
там где болит
немного
и никакого
чёрта
и никакого
бога

это
как песнь
песни
не описать
стихами
слышится
даже если
музыка
затихает

* * *

Ещё немного и песчаным ливнем
накроет Рим, последний, третий Рим,
и мы с тобой об этом говорим,
а надо бы о чём-нибудь наивном.

Допустим, о бессмертии вселенной,
но мы упрямо говорим о не-
избежности: об атомной войне,
о том, что все умрут и мы – со всеми.

А надо бы о чём-нибудь попроще:
об ангелах на маковке сосны...
Украсили рождественские сны
освоенную в бункере жилплощадь.

Уже ничто не будет повторимо,
уже никто не будет повторим,
и мы с тобой о Риме говорим,
но Рима нет, не будет больше Рима.

* * *

Меня качали на качелях
чужие дети – дети ветра,
у неба отвисала челюсть,
и ширился язык рассвета.

Сползала ночь по вертикали,
текла подобно жидкой меди,
над ней мелькали и мелькали
дождя простуженные дети.

Чужие дети – дети молний
неслись от хижины к сараю.
Я имена их не запомнил
и, если встречу, не узнаю.

Вокруг меня чужие дети,
разрушен дом и сад мой выжжен.
Я в этих снах, кошмарах этих
своих детей уже не вижу.

Я – пишу, ты – читаешь меня, между нами черта,
мы на разных полях, где одно именуется *автор*,

а другое – *читатель*, *читатель* обязан читать
всё, что *автор* напишет и это единственный фактор

как бы определяющий нашу совместную жизнь,
бытие, отношения, веру друг в друга шлифуя.

За него, как за стемель нефритовый, крепко держись
и читай, даже если не нравится то, что пишу я.

По-другому никак, не бывает иных величин:
не читатель, но здание, коему автор – основа.

Каждый сам по себе невозможен по ряду причин,
центровая: отсутствие смысла в значениях слова.

То есть, слово-то было и будет, как Божий миндаль,
предвкушение вечности, чаша святого Грааля,

но, скажи мне, кому пригодится в хозяйстве педаль,
если к ней не прикручен сверкающий корпус рояля?

Я – пишу, ты – читаешь меня, и другим не чета
наша тонкая связь, у обоих – припухшие веки.

Буду больше писать, чтобы ты ещё больше читал,
а когда испишусь, то и ты – исчитайся навеки.

Сперва за здоровье, потом за упокой,
а между ними долгая беседа
о том, что жизнь томительнее бреда
душевно озабоченных собой –
так прошлый век перетекал в другой.

Снимали шлях, которых не сношали,
поскольку не имели должных сил,
и дождь в окне уныло моросил,
и девочки, что цыпочки на шаре,
для красоты сидели, не мешали.

Один из нас, похожий на меня,
справлял нужду, не находя уборной,
в большую вазу, мат звучал отборный –
высоким стилем, лица леденя,
оправдывал деяния своя.

Стучали в двери, как по наковальне,
соседи, участковый, (кто ещё?).
В ту пору мир был несколько смещён,
казался продолжительней, овальной
под стать похмелью и холодной ванне.

Забыли всё: и век, и дождь, и стук,
и девочек, не тронутых ни разу,
но то, как я нассал кому-то в вазу,
с улыбкой умиления, мой друг,
мне поминают доктора наук.

Если Моцарт внутри,
замолкает небесная птаха
и Бетховен расслабиться может
в компании Баха.

Соловьиные трели
подобны звучанию дрели
и в сторонке сидят
шансонье, песняры, менестрели.

Если Моцарт внутри,
там не будет свободного места,
и лишится печаль
своего обжитого насеста,

и лишится любовь
постоянства, пространства, угла.
Там, где Моцарт,
и дня не стояло, и ночь не легла.

По ночам тишина,
ни шагов по квартире, ни песен.
Потолку не верна
аккуратно ползущая плесень.

Отлепила обои,
теперь поднимает паркет.
И спокойно до боли,
которой, как правило, нет.

Остаётся одно:
получать удовольствие нищих,
погружаясь на дно
подсознания – гулкое днище.

Там строитель рябой,
дармовой гастарбайтер-эстет
переклеит обои,
споёт, подровняет паркет.

Этот малый зловещ,
на суровую долю не ропщет.
Подсознание – вещь,
но реальность и тише, и проще.

Тяжелее всего начинать. Досчитаешь до ста,
не решаясь наполнить пространство пустого листа.

Доброй ночи тебе! Мои боги уснули немного
на широкой груди своего ненадёжного бога –

так они называют меня. Я вздыхаю чуток
и считаю до ста, и смотрю, как дурак, в потолок.

Баю-баю-баю, баю-баю-баю, баю-баю,
не смеюсь над собой, но слегка сам себя *улыбаю*.

Мои боги – я так называю три года подряд
золотого ребёнка и мать его – вроде бы спят.

Можно встать и писать,
и печататься в собственном блоге:
«Доброй ночи, Господь,
и спасибо, что счастливы боги».

Ничего, что мне скучно и скучно? И сучно, и ску...
Я в таком состоянии выпить уже не рискну,

потому что есть опыт, известны последствия, кои
превращают в животное, сам понимаешь, какое.

Это возраст, а, может быть, мир пресыщения тем,
что когда-то вселяло надежду возвышенных тем,

и комменты, как взмахи совсем не спортивной рапиры,
и на шее небес очевидны ожоги крапивы.

Это возраст и всё, что к нему прилагается, вот:
почерневшие руки и дьявольски белый живот,

что-то вроде семьи, (здесь три точки), не раны героя,
а срамные болячки: то язва, то зуд геморроя.

Нет, не возраст, скорее усталость, депрессия, страх
оказаться ненужным на пару с роялем в кустах.

Не обрящет осла никогда не слезающий с пони,
но блаженны забытые, ибо никто их не вспомнит.

Извини за сентенции, религиозную муть.
С детства комплекс величия мне помогает уснуть.

Получилось почти, я зевнул, потянулся и снова
так зевнул, что могла бы во рту поместиться корова.

«Не убоится верности предавший», –
ввернёшь и замолчишь на пару дней,
обдумываешь реплику: чем дальше
уходишь в речь, тем паузы длинней.

«Не убоится пастыря заблудший», –
и тишина, хоть колоколом бей,
величественна поза, лик: чем глубже
суждения, тем выглядишь глупей.

«Не убоится вечности убивший», –
молчание, по-гамлетовски тих,
взволнован, как ребёнок, но чем ближе
тебе слова, тем непонятней стих.

Вот и садимся мы за семейный ужин:
я – во главе стола, поскольку являюсь мужем,
отцом, основателем, рядом, поджав носы,
пристраиваются жена и малолетний сын,
вернее, в шелка дорогие наряжена,
во главу стола водружает себя молода жена,
и мы, затаив дыхание, разинув голодные рты,
видим, как дробятся прожаренной пищи пласты,
ещё вернее, оправленный нимбом косым,
во главу стола взбирается малолетний сын,
жена с ложечкой, а я с тарелочкой,
аки птицы небесные, вьёмся над деточкой.

* * *

Когда не станет смерти никакой –
ни медленной, ни скорой – никакой,
щемящий неминуемый покой
миры наполнит жизнью никакой –
ни медленной, ни скорой – никакой.

И мы одни с тобой (рука в руке)
пойдём к реке, и будем налегке,
и перейдём ту реку налегке –
рука в руке – моя в твоей руке
спульсирует, как рыба в тростнике.

И снова станет жизнь такой, какой
была до самой смерти никакой,
и снова станет смерть такой, такой,
какой была до жизни никакой,
какой была и – никакой другой.

ПЕСОЧНИЦА

*«Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал».*

Осип Мандельштам

Не тень цветущего каштана –
побеги от скрещённых спичек.
Вот этот низенький куличик
пусть будет холмик Мандельштама.

Какая, в сущности, умора
произносить: никто не вечен.
Пиковой маковкой увенчан
свод жестяного мухомора.

Песок рассыпчатый, неловкий,
чуть намочить его из лейки.
На разноцветные скамейки
садутся божие коровки.

От пенопений карусели
до колокольного разлива.
И скорбь воистину красива,
чиста, как детское веселье.

* * *

Научись молиться моим богам:
для начала медленно, по слогам,
округляя рот, расправляя плечи,
постигая смыслы печатной речи.

Всё быстрее, мягче, в конце концов
уберёшь в сторонку молитвослов
и, слегка сбиваясь, за фразой фразу
повторишь на память. Конечно, сразу

не сумеешь, но не гневи богов,
если спать пойдёшь, не увидишь снов,
потрудишься ещё, перечти и снова
отведи глаза от молитвослова.

За печатной речью не виден край,
научись молиться, потом – ругай,
разучи молитвы, потом – суди
до морщин, до судорог, до седин,
до потери пульса, до кома в горле,
остановки сердца, удушья, астмы...

Верю: нету богов покорней,
знаю: боги мои всевластны.

Но все мы – пустынные тени, которые мелко легли
под ломкие стебли растений, на вечные веки земли,

и свет, если верить приметам, что мы начинаемся там,
где он завершается, – это реальность, неясная нам.

* * *

Снова зима, и снег за окном
величиной с горошину,
и нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

Это всё сна небывалый путь,
коего так не хватало.
Холодно, некому подоткнуть
краешек одеяла.

Выйду во двор, пойду босиком,
как по траве некошенной,
и – нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

Если зима и если кругом
белого неба крошево,
то нет ничего плохого в том,
что нет ничего хорошего.

* * *

Я тоже умею играть на трубе,
за правое дело погибнуть в борьбе.
Во поле широком врага настигая,
умею прославить себя, дорогая.

Камнями шугая дворовых собак,
и в церковь умею ходить, и в кабак,
и, даже камнями собак не шугая,
умею туда же ходить, дорогая.

И холод, и голод, и каторжный труд
за краткое время любого согнут.
Ничто не кляня, никого не ругая,
умею согнуться и я, дорогая.

Умею в тебя не войти, но упасть,
с лихвой ублажая животную страсть,
кончаясь, потея, слюной истекая –
всё это умею, моя дорогая.

Умею убиться, остаться живым,
умею считаться навеки твоим,
и жемчуг метать, и нести ахинею,
но делать счастливой тебя не умею.

* * *

Не ложись к ней в постель,
никогда не ложись, никогда,
даже если метель за окном
и в груди холода,

даже если один
и конца одиночеству нет,
сам себе господин –
сам себе неизвестный поэт,

не ложись к ней в постель,
никогда-никогда не ложись –
это больше, чем цель,
на которую тратится жизнь,

это больше, чем жизнь,
при которой немыслима смерть:
никогда не ложись
и не думай такое посметь,

никогда, никогда,
потому что не надо, нельзя,
и не чувствуй стыда,
уползая, на брюхе скользя

по неровным полам,
по стене, потолку – всё равно,
пусть уже пополам
разрывает желание, но

не ложись к ней в постель,
как занюханный поц, не мельчи,
даже если модель
отношений иного не чтит,

даже если нагой,
тебе некуда деться в ночи,
к ней в постель – ни ногой,
ни рукой, упирайся, кричи,

потому что нельзя,
потому что не нужно тебе,
эта всячина вся,
эта женщина с богом в ребре –

не твоя параллель,
не твоя, не твоя благодать,
не ложись к ней в постель,
я ведь знаю, ты ляжешь опять.

* * *

Так явственна природа тишины,
когда ни друга рядом, ни жены
и занят сын великими делами,
и между мной и небом – между нами
зияющие бездны не видны –
я сам есть небо, полное луны.

Сегодня полдень с самого утра,
вернее, утро начиналось в полдень.
Я просыпался медленно, и подле
меня всюду лучилась мошкара.

Была мне лень и лень была мила:
то сны являла краткие, то нежность,
похожую на влажную промежность
той суки, что мне сына родила.

Зевнул два с половиной раза, но
глаза открыл минут через пятнадцать.
О, если бы я мог во снах питаться,
то спал бы жизнь, как смотрится кино.

Пол-литра кофе – это не конец.
Здоровья много, надо бы ума мне.
Я слишком часто думаю о маме,
но сам уже давным-давно отец.

Пора писать – не пишется строка...
О чём писать, когда легко и просто,
когда тебе почти что девяносто,
а все дают не больше сорока?

* * *

Хожу, дурак неписанный,
линейный, как сосна,
сказали мне: «Купи слона»,
и я – купил слона.

Сознание спрессовано
до состояний сна:
слону, по сути, всё равно,
кто приобрёл слона.

Ни горячо, ни холодно,
он – мыслями весом,
а здесь дурак по городу
гуляет со слоном.

...и, кажется, кроме сына,
уже никого не надо.
Несёмся на облаке синем
дорогой из детского сада.

Во веки веков не заманят
качели, песочницы, горки:
там гоблины скачут за нами,
тут злобно хихикают орки.

Но мы – подворотней уходим,
скользим по верхушкам деревьев,
отмерив себя непогоде
и руки друг другу доверив.

* * *

Июнь-июнь, июнь-июнь,
на всякий лист – по слизню,
осу в карман себе засунь
и наслаждайся жизнью.

Гори неистово, пылай,
мотай на локоть слюни,
тебя уже замаял май,
так пусть июнь июнит.

Повсюду божия роса,
и горизонт в тумане,
и счастья нет, но есть оса...
Но есть оса в кармане.

* * *

Усталость, равнодушие, тоска.
Живая масса двинет в отпуски
расслабиться под солнечным лучом,
воспитывая мысли ни о чём.

И я, примкнувший в утреннем часу
к единой цели, общему числу,
куда-нибудь, наверное, рвану,
покину город, родину, страну.

И будет отдых славен по труду,
как привкус вдохновения во рту,
как бьющие невидимым ключом
восторженные мысли ни о чём.

Обнимешь подушку
и дремлешь,
и видишь короткие сны,
своё одиночество делишь
с отсутствием чувства вины,
и нет нарочитых реалий,
и времени будто бы нет,
как нет ни стыда, ни морали
у счастливо прожитых лет.

* * *

Ничего не бывает вдоволь,
даже морю не хватит пены,
и когда отходили воды
у жены моей самой первой,

я держал на одной ручище
эту влагу любви дольней,
и, казалось, не будет чище,
и не будет меня довольней.

Вот и проза
совместной жизни,
разлагающая на числа:
там дружили и там дружили,
тут лечился и тут лечился,

на волну набегали волны,
и бросали детей на скалы –
не бывало то море вольным,
пока руки мои ласкало.

Только ночи царили в доме,
и волна поднималась выше,
округляя всю ладони
водопадами белой вишни,

и меняли друг друга жёны –
от предвечных
до первых встречных –
будто множили отражённых
в отражениях бесконечных.

* * *

Ещё вчера был жив комар,
он залезал ко мне в карман,
садился на нос, лип ко лбу
и, за стопой влача стопу,
топтал к зальсине тропу.

Он позволял себе гулять
с моей женой в мою кровать,
учился моему уму
и (страшно рассказать кому!)
кормился у меня в дому;

не раз, но многие лета
в мой холодильник залетал
и вылетал оттоль не раз;
лишённый совестливых глаз,
на мой садился унитаз;

ни капли не жалея сил,
он кровь мою нещадно пил;
когда спасал кого-нибудь
не забывал, надувши грудь,
моею сабелькой махнуть;

Комар был жив ещё вчера,
был мрачен день и ночь черна,
и жизни жидкое стекло
из тельца хрупкого текло.

Ещё вчера: комар был жив,
звучал назойливый мотив –
пищал комар, вселяя страх,
а нынче обратился в прах,
опять же, на моих руках.

Это жизни моей торжество:
с теплотой неземною
вынимать из кровати того,
кто считается мною,

ставить на ноги или держать
на весу, не роняя,
выдавая пустую кровать
за преддверие рая.

Вот и доброе утро, страна,
слишком доброе утро.
Я почти отошёл ото сна,
улыбнулся как будто,

и, нащупав рукой пустоту
на соседней подушке,
потянулся, отмеря версту
от мысков до макушки.

По холодному полу туда,
где находится ванна,
и сказал, что уйду навсегда,
и ушёл, как ни странно...

Страшно немного
и больно чуть-чуть.
Здесь, у разобранной ёлки
ляжет гирлянды запутанный путь
и превратится в осколки.

Фантики от шоколадных конфет,
сморщенные мандарины...
Приобретает потерянный цвет
всё, чем тебя одарили.

В эти секунды, минуты, часы
холод отраднее, ближе.
Но, по карнизам развесив носы,
мутная оттепель движет.

* * *

Пока не пишется, живёшь
не на излёте, на подъёме –
так неоправданно хорош
кирпич, лежащий на поддоне.

Заметишь яму, обойдёшь,
объедешь на велосипеде,
в новинку снег, реален дождь,
подробнее энциклопедий.

Проткнёшь случайно колесо,
узнаешь, где в насосе поршень.
Улыбка сделает лицо
мудрей, значительнее, больше.

Не опоздаешь на трамвай,
успеешь на последний поезд,
за дальней станцией трава
пускай растёт себе по пояс.

Чуть увеличится живот
и чуть уменьшатся проблемы,
но вдохновение придёт,
как баба в образе дебелом.

Свернёт стальные косяки,
заполнит личное пространство
всем изобилием тоски
и прихотью непостоянства.

И понесёшься по лесам
искать рекомую обитель,
где можно было бы писать,
чтоб этой бабы не обидеть.

Автобус набит овощами –
протиснулся еле,
неплохо прикинулся щавелем,
чтобы не съели,

протиснулся памятно, быстро,
повис между репой
и, кажется, тыквой ребристой,
холодной, свирепой.

В автобусе, чай, не на пудинге,
день подытожен:
кондуктора нет и не будет,
водителя тоже,

дорога сама под колёса
ложится упрямо,
несёмся: то криво и косо,
то ровно и прямо.

Неловко чего-то моркови,
тарашится в окна,
тому подтверждением – корни
пустившая свёкла.

Изрядно помятый томат
выражается матом,
настойчиво требует мат
предоставить томатам.

Во мне, как у местного щавеля,
снижена плотность
и я без конца ощущаю
свою инородность.

* * *

Однажды мы случайно где-нибудь
в конце вселенной встретимся и снова
соединимся в целое одно,
единое, прозрачное, большое.

Когда-нибудь окажемся вдвоём
на высоте последнего пространства
и никого не будет, ничего
не будет между призрачными нами.

Должно быть, через пару сотен лет
или, того страшнее, много позже
сойдёмся без особенных причин,
как будто никогда не расходились.

Два совершенно разных существа,
далёкие, полярные друг другу,
мы станем завершением небес,
невидимой, но осязаемой точкой.

«...лежит ночная мгла...»

А.С. Пушкин

Уютно мне в компании с тобой
сплошной коньяк закусывать губой
и, засучив по локоть рукава,
качать права.

Краснея, простодушно матерясь,
нащупывать утраченную связь,
и нежиться, и чувствовать при том
себя скотом.

Мне нравится, как будто из ведра,
глушить коньяк до самого утра,
когда сидишь во чреве темноты
со мною ты.

Ни свечек, ни лампадки, ни луны,
ни грамма спермы, ни одной слюны,
однако вместе: нравится любой,
где я с тобой.

Мне нравится любая ипостась,
где мы с тобой испытываем страсть,
где на кривое зеркало легла
ночная мгла.

Мальчик упрямо вертит,
крутит овал земной
и не боится смерти,
маленький, страшный, злой.

Утром на мессершмитте
не облетал страну,
просто сходил на митинг
и развязал войну.

Просто несчастный мальчик,
выросший без отца,
взял и направил мячик
вдоль своего крыльца.

Не подавал снаряды,
не поднимал знамён,
просто всегда был рядом,
светел, горяч, умён.

Дёшево будет продан
родины горький дым.
Быть со своим народом
нравится молодым.

В этом, не скажешь мягче,
дикое что-то есть.
Катится дальше мячик,
дом огибает весь.

Если сильнее ударить,
перелетит забор –
пятнышко на радаре
не разглядеть в упор.

Небо расчешет космы
облаку и – вперёд –
мальчик в открытый космос
вслед за мячом уйдёт.

Поцелуй меня когда-то,
обними давным-давно.
Округляющимся датам
истончиться не дано.

Ровен год со дня разлуки.
Наступившая весна
уплотняется до скуки,
разрастается до сна.

Тьма отчётливо поблекла,
свет изящно полинял,
и теперь на месте пекла
развернулась полынья.

Но кошмарами не мучим
и, конечно же, самим
равнодушием дремучим
нифига не утомим.

Великий март почти что на исходе,
за ним апрель, дурная голова,
уже готовый при любой погоде
отстаивать законные права.

Асфальт раскатан снегом и дождями,
блестит, как приоткрытое окно.
Закончилась эпоха ожиданий
и наступило самое оно:

заполнило водой речную пойму,
и загляделся в дали небосклон,
и женщина, которую не помню,
сказала всем, что я в неё влюблён.

* * *

В каждом облаке, знавшее горе,
отражается Чёрное море,
даже в самой застенчивой туче
отражаются горные кручи.

Величаво и не обозримо
это небо горящего Крыма,
но к нему не дотянется жало
мирового пожара.

Каменистых тропинок изгибы,
на которых встречаться могли бы,
оставляем иным на потребу,
потому что мы преданы небу.

Кто-то тихую ненависть копит,
кто-то плачет у сломанных копий,
только мы собираемся в стайки,
сиротливые чайки.

Никому, никому, никому
не достанется небо в Крыму,
только мне и тебе – пополам,
трам-пам-пам, трам-пам-пам,
трам-пам-пам.

* * *

Христос воистину воскрес –
пасхальной песней известят,
и каждый, кто сегодня весел,
да будет свят,

да будет бесконечно светел
в тени духовного родства.
Христос воистину ответил
за все слова.

* * *

Чудно́ и чу́дно растворится небо
в морской воде – хорошее такое
пространство абсолютного покоя,
почти что небыль.

Невесть откуда взявшееся снова,
невесть куда исчезнувшее будто,
останется обычным атрибутом
всего земного.

* * *

Не прощались надолго:
– До встречи! –
говорили друг другу легко.
На твои угловатые плечи
проливалось моё молоко.

Выходили паломники в белом
на простой человеческий суд,
и лучился немного дебелий
опрокинутый набок сосуд.

Солонели намокшие руки.
Вящим помыслам наперекор,
ожидание новой разлуки
занимал языка перебор.

Только рифму, волнуясь и пенясь,
оттолкнул, как лицо от бедра:
– Не целуй меня, женщина, в губы,
нам уже расходиться пора.

По домам, в опустевшие гнёзда,
где звучат одиночества нам.
Не целуй меня, женщина, – поздно,
по домам, по домам, по домам.

* * *

За годы одиночества, за боль,
которую не в силах превозмочь,
за каждую счастливейшую ночь
когда-то проведённую с тобой.

За нищету и бедствия, опять
за нищету, осознанность потерь,
за то, что жить не хочется теперь
и, кажется, нет смысла умирать.

За новизну и молодость лица
при полном неимении души,
за чувства пережатые в глуши
печали без начала и конца.

За отнятую веру в благодать,
за пущенную по миру молву,
за то, что я пока ещё живу
и даже не намерен умирать.

За новый, появляющийся штамп,
за этот вот, который говорю:
под окнами в зелёную ноздрю
освистывает улицу каштан.

За мелкую расчётливость стыда,
за холод, отступающий к утру,
за то, что я вовеки не умру,
поскольку жить не буду никогда.

* * *

Приятная усталость от любви –
пороки возвышающая бездна
благословенна верой на крови,
отчаянно легка, но бесполезна.

Останется незастланой постель,
наполнится прохладой одеяло
и чтение колонки новостей
вернёт мне ощущение реала.

Говорят, войны не будет,
но когда-нибудь потом,
а сейчас – чужие люди
с автоматами кругом –
называются врагом.

Наступили, обступили,
взяли штурмом, отошли...
Мало чести, много пыли,
стойкий запах анаши
плюс отсутствие души.

Занавешиваю окна,
выключаю белый свет,
в мою комнату волокна
не затащат интернет.
Нет меня, повсюду нет.

Нет меня и всё в порядке:
песни, пляски, летний зной.
Я теперь играю в прятки
с этой (как её?) войной
не играющей со мной.

*«Солнечный круг,
небо вокруг...»*

Позднее время суток.
Я до того дошёл,
что обвожу рисунок
чёрным карандашом.

Вроде косые ливни,
но получились для
жёлтых и синих линий
комната, ночь, петля.

Пляшет под лупой лампы,
видимая пока,
будто куриной лапой
писанная, строка.

Тёмная завязь молний –
сила в одном рывке –
чтобы забыл, не помнил
надписи в уголке.

Стянется вещей сумрак,
солнце во всю смоля.
Был да пропал рисунок,
прямо как жизнь моя.

* * *

Только нет ничего кроме речи моей,
и не будет вовеки
набелённого льда, перекаатов огней,
испаряющих реки.

Откровения, силы, не будет любви
бесноваться частица,
если речи моей под предлогом любым
никогда не случится.

Даже небо не будет смотреться в меня
сквозь линялые шторы,
одеваясь туманом короткого дня,
успокоиться чтобы.

2010-1014 гг.

Содержание

Ко всем чертям на кастинг. Борис Кутенков3

МАНДАРИНОВЫЙ САД

«Не в Рязани, не на Гатчине...»	10
«Дело к весне, похоже, и на душе покойно...»	11
«Фиолетовый замок из нежных фиалок...»	12
«Мандариновый сад откровенно оранжев...»	13
«И я, Господь, твой плут, и я, Господь...»	14
«В миру пребываем посредством иллюзий...»	15
«Ей мечталось вечерами...»	16
КОКТЕБЕЛЬ	17
«Входила в дом и выходила в сад...»	18
«Обо мне вспоминала украдкой...»	19
«Напоминай мне чащѐ. Понесло...»	20
«Убогая часовенка у Бога я...»	21
«Ещё одну затейливую грань...»	22
«Позову, только ты не ответишь...»	23
«Ничего не будет, ничего...»	24
«И только смерть способна отрезать...»	25
«Гляди-тка, подворотней семеня...»	26
«Закрывать окно, задѐрнуть занавеску...»	27
«Капризами грозы наскучат вѐсны...»	28
«Из чайной чашечки коньяк...»	29
«Кружат тени листопада...»	30
«Слышишь, Черри, слышишь...»	31
«Это осень. Я видел Еѐ предрассветные ливни...»	32
«И было всё, и ты уже была...»	33
«А снега-то, снега насыпало...»	34
«Ветер выюжен, ветер выюжен...»	35
«Выпью водки. Водка кстати...»	36
«С каждым днѐм холоднее...»	37
«Мы говорили долго, ни о чём...»	38
«Пейзаж в окне меняется некстати...»	39

«Господь с тобой...»	40
«Всё суета, мой друг, всё – суета...»	42
«Над опустевшим переулком...»	43
СРЕТЕНКА	44
«Ослепший Моцарт кутается в плед...»	45
«Надо бы новый костюм...»	46
«В прошлый век ухожу...»	47

КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ

«И пусто, и только раздолью дано...»	49
«В такую ночь оседлый берендей...»	50
«Не столько отбриг...»	51
«Много в тебе от матери...»	52
«Под сырую гармонию незатейливых туч...»	53
«Света белого подруги...»	54
«Смотри сюда, покамест пятаки...»	55
«Лишённый детства собственных детей...»	56
КОЛЫБЕЛЬНАЯ	57
«А кажется, воздух качнулся тихонько и замер...».....	58
«Сколько тебе осталось? И день за два...»	59
«На каждый шаг звонят колокола...»	60
«Птица, медленно парящая над горизонтом...»	61
«Не умер я – и только потому...»	62
«Представь меня бегущим по волнам...»	63
«Напротив дома не просто церковь...»	64
«Погода радуется, и мысли не гnevят...»	65
«Мы ничего не можем...»	66
«Семь сантиметров снежного покрова...»	67
«Со мной никогда ничего не случится...»	68
«Видишь, погода меняется к лучшему...»	69
«Новейшая история. Экзамен...»	70
«Когда в расеях строился бордель...»	71
«Уходи от погони...»	72
«Но город пуст, как божья пятерня...»	73
«Под утро, пока не спюют петухи...»	74
«Она не живёт в другом часовом поясе...»	75
«Открыта дверь...»	76
«Давай соберёмся на майские в лес...»	77
«О любви не ведёт разговор...»	78

«Говори, заговаривай боль...».....	79
«Две тысячи восьмой от Рождества...»	80
«Здесь поворот...»	81
«Полгода вместе...»	82
ОБРЫВ	83
«Расплеташь постель, как речную косу...»	84
«Холодно, холодно мне и печально...»	85
«Ни предрассветных ожиданий...»	86
«Прости за дурную привычку...»	87
«Никто не знает, где ты, потому...»	88
«Я в абсолютной невесомости...»	89
«Говорили мне черти: стихов не пиши...»	90
«Первое увлечение женщиной...»	91
«Прятались в самом центре Санкт-Петербурга...»	92
«Ко всему прочему я равнодушен, пожалуй...»	93
«Понимаю, к чему вы в последнее время клоните...»	94
ПТЕНЧИК	95
«В первой комнате жил я подобно Сфинксу...»	96
«Я всё ещё пробую жить по-человечески...»	97

ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ

«Никакого счастья, понимаете, никакого...»	99
«Даже самые страшные упущения можно...»	100
«Отсутствие денег не отменяет...»	101
«А почему бы не стать мне...»	102
THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES	103
«Никто не приходит в гости за просто так...»	104
«Мониторить своё имя до поздних сумерек...».....	105
«Почему эта женщина проходит мимо меня?...».....	106
«Приходи домой под утро...»	107
«Революцию сделали, а после неё хоть потоп...»	108
«У неё температура тридцать девять и девять...»	109
«И мне казалось, что жизнь моя...»	110
«Придумал себе реальность...»	111
«Стоял у берега моря...»	112
«У Тимофея как-то случился свободный вечер...»	113
«Пока деревья были меньше...»	114

«В метро, в электричке, в трамвае...»	115
МОСКВА, ИЮЛЬ, 2010 г.	116
МАЗУРКА.....	117
«Представь себе, что папа любит маму...»	118
«Три года мне, и было мне когда-то...»	119
«Так просто жить, что хочется ещё...»	120
«Только любовь...»	121
«И брат не заходит в мой дом...»	122
«звук...»	123
«Ещё немного и песчаным ливнем...»	125
«Меня качали на качелях...»	126
«Я – пишу, ты – читаешь меня...»	127
«Сперва за здоровье, потом за упокой...»	128
«Если Моцарт внутри...»	129
«По ночам тишина...»	130
«Тяжелее всего начинать...»	131
«Ничего, что мне скучно и скучно?..»	132
«Не убоится верности предавший»	133
«Вот и садимся мы за семейный ужин...»	134
«Когда не станет смерти никакой...»	135
ПЕСОЧНИЦА	136
«Научись молиться моим богам...»	137
«Но все мы – пустынные тени...»	138
«Снова зима, и снег за окном...»	139
«Я тоже умею играть на трубе...»	140
«Не ложись к ней в постель...»	141
«Так явственна природа тишины...»	143
«Сегодня полдень с самого утра...»	144
«Хожу, дурак неписанный...»	145
«...и, кажется, кроме сына...»	146
«Июнь-июнь, июнь-июнь...»	147
«Усталость, равнодушие, тоска...»	148
«Обнимешь подушку...»	149
«Ничего не бывает вдоволь...»	150
«Ещё вчера был жив комар...»	151
«Это жизни моей торжество...»	152
«Страшно немного...»	153
«Пока не пишется, живёшь...»	154
«Автобус набит овощами...»	155
«Однажды мы случайно где-нибудь...»	156

«Уютно мне в компании с тобой...»	157
«Мальчик упрямо вертит...»	158
«Поцелуй меня когда-то...»	160
«Великий март почти что на исходе...»	161
«В каждом облаке, знавшее горе...»	162
«Христос воистину воскрес...»	163
«Чудно и чудно растворится небо...»	164
«Не прощались надолго...»	165
«За годы одиночества, за боль...»	166
«Приятная усталость от любви...»	167
«Говорят, войны не будет...»	168
«Позднее время суток...»	169
«Только нет ничего кроме речи моей...»	170

ББК 84(4Рос)62-53я44
А 727
УДК 821.161.1'06-14(081)

ДМИТРИЙ АРТИС

Литературно-художественное издание

ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ

стихотворения

*Книга издана при соучастии
Южнорусского Союза Писателей*

Корректор Сергей Меньшиков
Вёрстка Денис Банчик

Підписано до друку 15.10.2014 р.
Формат 84x90/32. Гарнітура officina Sans C.
Папір офсет. Друк офсет.
Ум. друк. арк. 7,78. Зам. 4068.
Тираж 300 прим.

Видавництво КП ОМД
(свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17